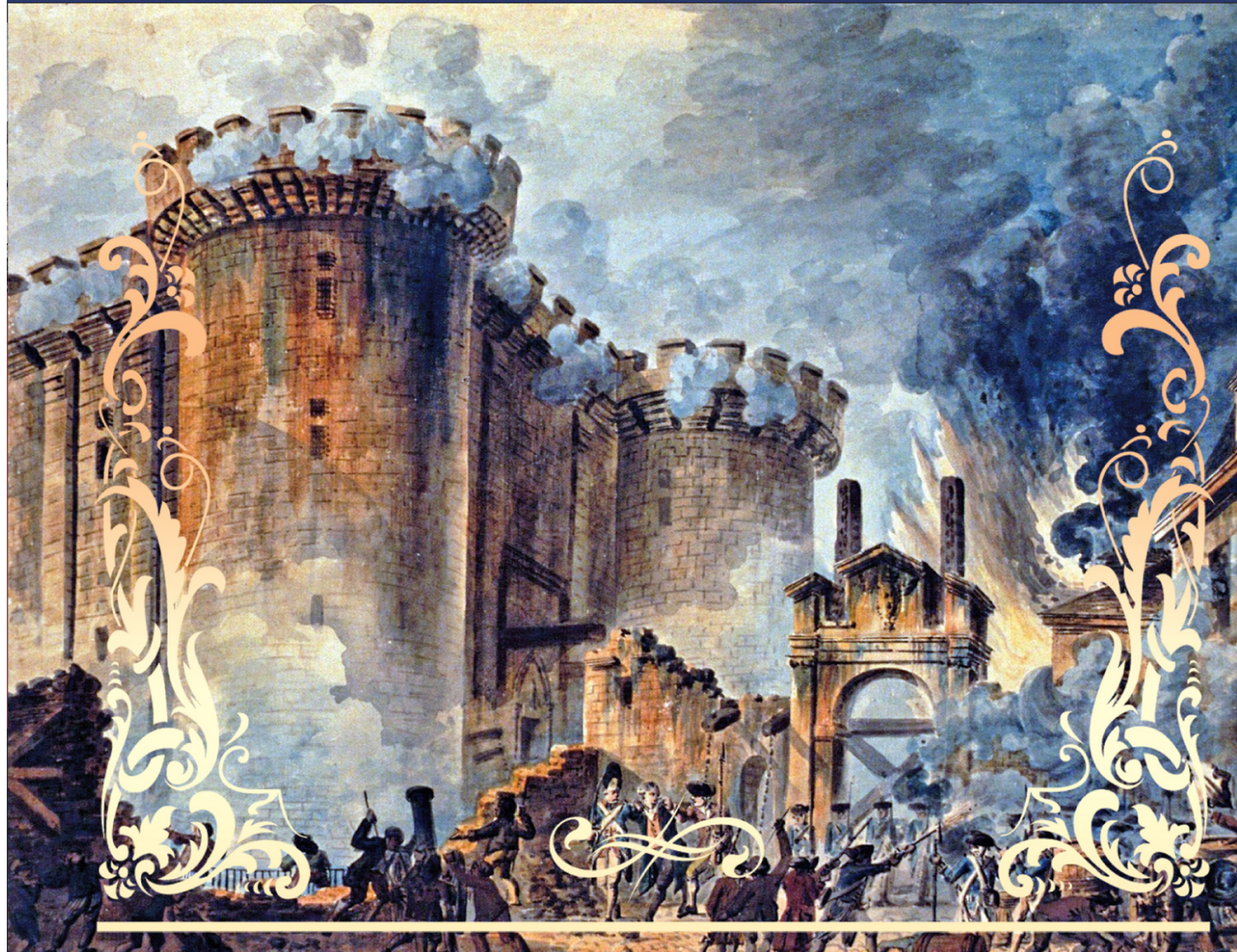


100 великих романов

Чарльз ДИККЕНС



# ПОВЕСТЬ О ДВУХ ГОРОДАХ



100 великих романов

Чарльз Диккенс

**Повесть о двух городах**

«ВЕЧЕ»

1859

**Диккенс Ч.**

Повесть о двух городах / Ч. Диккенс — «ВЕЧЕ», 1859 — (100 великих романов)

ISBN 978-5-4484-8411-7

Этот роман насчитывает сотни переизданий и является самым читаемым произведением великого английского писателя Чарльза Диккенса (1812–1870). Эпоха конца XVIII века с ее потрясениями и сейчас вызывает немало вопросов. По словам самого Диккенса, «это было лучшее из всех времен, это было худшее из всех времен». Как отозвалась Великая французская революция на судьбах героев романа? Сумеет ли избежать гильотины Чарльз Дарней, английский аристократ, оказавшийся в Париже, охваченном диким огнем свободы?

ISBN 978-5-4484-8411-7

© Диккенс Ч., 1859

© ВЕЧЕ, 1859

## Содержание

Предисловие автора	6
Часть первая. Возвращается к жизни	7
Глава I. Время действия	7
Глава II. Почтовая карета	9
Глава III. Ночные тени	13
Глава IV. Подготовка	16
Глава V. Винная лавка	24
Глава VI. Башмачник	31
Часть вторая. Золотая нить	38
Глава I. Пять лет спустя	38
Глава II. Зрелище	43
Глава III. Разочарование	48
Глава IV. Поздравительная	58
Глава V. Шакал	63
Глава VI. Сотни всякого народу	68
Конец ознакомительного фрагмента.	70



# Чарльз Диккенс

## Повесть о двух городах

*Эта повесть посвящается лорду Джонсу Расселу в знак памяти о многочисленных заслугах перед обществом и о внимании, многократно оказанном автору*

© ООО «Издательство «Вече», 2020

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)



Чарльз Диккенс

## Предисловие автора

Основная мысль этой повести явилась у меня впервые, когда я вместе с детьми и знакомыми участвовал в представлении драмы Уилки Коллинза «Оледенелая пучина». Стремясь к воплощению своей роли, я с особенной вдумчивостью и интересом нарисовал в своем воображении картину того душевного состояния, которое мне предстояло воспроизвести перед наблюдательным зрителем.

Когда эта мысль стала выясняться, она мало-помалу приняла ту форму, в которую вылилась окончательно. Я всецело находился во власти своего замысла, пока приводил его в исполнение. Все, что выстрадано и пережито на этих страницах, было прочувствовано мной: все это пережил и перестрадал я сам.

Все приводимые мной подробности, не исключая и самых мелких, о состоянии французского народа до и во время революции вполне достоверны, ибо основаны на свидетельстве очевидцев, заслуживающих безусловного доверия. Я, между прочим, льстил себя надеждой, что эта книга поможет широкому кругу читателей составить себе картину внешней стороны того страшного времени; что же касается до внутреннего его понимания, то после удивительной книги господина Карлейля вряд ли кто может надеяться сказать в этой области новое слово.

*Тэвисток-хаус, Лондон,  
ноябрь 1850 г.*

## Часть первая. Возвращается к жизни

### Глава I. Время действия

Это было лучшее из всех времен, это было худшее из всех времен; это был век мудрости, это был век глупости; это была эпоха веры, это была эпоха безверия; это были годы света, это были годы мрака; это была весна надежд, это была зима отчаяния; у нас было все впереди, у нас не было ничего впереди; все мы стремительно мчались в рай, все мы стремительно мчались в ад, – словом, то время было так похоже на наше, что наиболее крикливые его представители требовали, чтобы к нему применялась и в дурном и хорошем лишь превосходная степень сравнения.

На английском престоле восседал король с широкой челюстью и королева с некрасивым лицом; на французском престоле восседал король с широкой челюстью и королева с красивым лицом. В обоих государствах вельможи и лорды, обладатели благ земных, были твердо убеждены, что все благополучно и прочно установлено раз и навсегда.

То было лето от Рождества Христова тысяча семьсот семьдесят пятое. И в ту благополучную эпоху, так же как и в нынешнюю, Англии были ниспосланы особые откровения свыше. Миссис Соускотт<sup>1</sup> только что отпраздновала двадцать пятый день своего благословенного рождения, хотя некий пророк из солдат лейб-гвардии предсказал, что все уже готово для того, чтобы в этот самый день Лондон и Вестминстер провалились сквозь землю. Призрак, появившийся на улице Кок-лейн<sup>2</sup>, всего только лет двенадцать как был укрощен, простучав все, что имел сообщить человечеству, совершенно так же, как в прошлом году новоявленные духи выстукивали свои сообщения, – мимоходом сказать, доказав этим сверхъестественное отсутствие всякой оригинальности. Другие сообщения – уже не столь сверхъестественным образом – начали с некоторых пор приходить по адресу английского народа и английских властей от конгресса британских подданных, находившихся в Америке<sup>3</sup>; и, как это ни странно, эти сообщения оказались несравненно более важными для человечества, нежели все, что до сих пор человечеству приходилось выслушивать от духов и призраков, кок-лейнских и иных.

Франция, по части спиритических откровений вообще менее взысканная Небесами, чем ее заморская сестра, полегоньку катилась себе под гору, фабрикуя бумажные деньги и транжируя их. Под руководством христианских своих пастырей забавлялась она, между прочим, и такими гуманными развлечениями: приговаривала юношу к отсечению обеих рук, вырыванию языка клещами и сожжению туловища живьем за то, что он не встал на колени – в грязи, под дождем, – в то время как на расстоянии пятидесяти или шестидесяти шагов от него проходила процессия монахов. Очень вероятно, что в ту пору, когда казнили этого страдальца, где-нибудь в лесах Франции или Норвегии росли те самые деревья, уже отмеченные Дровосеком-Судьбой, деревья, из которых потом вырежут бревна, напилят доски и построят некую переносную машину с падающим ножом, столь страшную в истории человечества. Очень вероятно, что в тот самый день где-нибудь в сараях у земледельцев, обрабатывающих тяжелую почву ближай-

---

<sup>1</sup> Миссис Соускотт (1750–1814) – религиозная фанатичка, якобы обладавшая даром пророчества и другими сверхъестественными способностями. Имела до ста тысяч последователей.

<sup>2</sup> Привидение, появлявшееся на улице Кок-лейн, возбуждало много толков в Лондоне в шестидесятых годах XVIII в. Впоследствии выяснилось, что в роли привидения фигурировала молодая девушка, а целью появления мнимого призрака был шантаж.

<sup>3</sup> Английские колонисты в Северной Америке протестовали против вмешательства Англии во внутреннюю жизнь колоний, против вводимых налогов и пр. Эта оппозиция закончилась Войной за независимость и полным отпадением североамериканских колоний от Англии.

ших окрестностей Парижа, стояли запряженные от дождя грубые телеги, забрызганные деревенской грязью, и свиньи обнюхивали их, а куры несли в них яйца, а Хозяйка-Смерть уже отметила их для перевозки осужденных на казнь во время революции. Но и Дровосек, и Хозяйка хоть и работают непрерывно, но работают тихо, и никто не слышал, как бесшумной поступью они продвигались вперед; тем более что, если бы кто осмелился заявить об их приближении, того провозгласили бы безбожником и предателем.

В Англии тоже жилось не слишком безопасно и спокойно; оснований для национальной гордости было не много. В самой столице каждую ночь совершались дерзкие грабежи, вооруженные люди врываются в дома, разбойники грабили по дорогам. Семейным людям официально рекомендовалось не иначе выезжать за город, как сдав свою городскую движимость на хранение в мебельные склады. Разбойник, выезжавший ночью на большую дорогу, днем мирно торговал в Сити; а когда его же собрат по торговле, на которого он нападал под видом *капитана*, узнавал его и называл по имени, капитан благороднейшим образом простреливал ему череп и уезжал. На почтовую карету однажды напало семеро; кондуктор троих уложил на месте, а остальные четверо уложили его самого, потому что у него не хватило зарядов, – после чего они преспокойно ограбили почту. Сам великолепный вельможа, лондонский лорд-мэр<sup>4</sup>, ехавший через Тернгемский выгон, был остановлен одним разбойником, который без всякой церемонии обобрал высокопочтенного сановника в присутствии всей его свиты. В лондонских тюрьмах узники учиняли настоящие битвы со сторожами, а представители закона палили в них из мушкетов. Вору ухитрялись отрезывать бриллиантовые звезды с благородных лордов, являвшихся ко двору на торжественные приемы. Мушкетеры входили в церковь Сент-Джайлса в поисках контрабандных товаров, и при этом простой народ стрелял в мушкетеров, а мушкетеры стреляли в народ; и всем это казалось в порядке вещей. И среди всей этой суеты без устали работал палач – работы у него было по горло, а дела не улучшались нисколько. Он был нарасхват: то вздернет гуртом целую гирлянду самых разнородных преступников, то повесит в субботу разбойника, пойманного не дальше как во вторник, то на площади у Ньюгетской тюрьмы<sup>5</sup> сожжет десятки людей, то у ворот Вестминстера спалит пачку бумажных памфлетов; нынче казнит страшнейшего злодея и убийцу, а завтра – жалкого воришку, стащившего шесть пенсов у мужика-батрака.

Все эти факты и тысячи им подобных происходили в благословенное лето от Рождества Христова тысяча семьсот семьдесят пятое, да и немного позже. В такой обстановке, пока таинственный Дровосек и Хозяйка действовали неслышно и невидимо, те двое с широкими челюстями и другие двое – одна с некрасивым, а другая с красивым лицом – шествовали своим путем довольно шумно, широко пользуясь своими божественными правами. Таким-то образом этот тысяча семьсот семьдесят пятый год вел предназначенными им дорогами как этих высоких особ, так и мириады всякой мелкоты, в том числе и тех мелких существ, о которых будет речь в этой летописи.

<sup>4</sup> Лорд-мэр – городской голова лондонского Сити.

<sup>5</sup> Старинная тюрьма, расположенная в центре Лондона и очень плохо содержавшаяся. Во второй половине XIX в. она была снесена.



## Глава II. Почтовая карета

Поздним вечером в конце ноября, в пятницу, перед глазами первого из действующих лиц нашей повести тянулся Дуврский тракт. Это действующее лицо шагало по жидкой грязи рядом с почтовой каретой, медленно взбиравшейся по косоугору Шутерсхилла; за ним плелись и остальные пассажиры; прогулка при таких обстоятельствах не доставляла никакой приятности, но подъем был так крут, дорога так грязна, дилижанс и сбруя так тяжелы, что лошади уже три раза останавливались, не считая того случая, когда они рванули карету вбок с мятежным намерением отвезти почту обратно в Блэкхиз. Но вожжи и хлыст, кучер и кондуктор соединились вместе и прочли им ту статью военного устава, которая запрещает всякую попытку к мятежу, и хотя в этом случае бессловесные твари явно подтверждали мнение, будто они тоже одарены разумом, тем не менее они смирились и снова принялись исполнять свои обязанности.

Понурия головы и потрясая хвостами, месили они глубокую грязь, спотыкаясь и барахтаясь всем телом, как будто угрожая развалиться на главные составные части. Каждый раз, как кучер давал им вздохнуть и останавливал карету, сдержанно произнося: «Ну-ну, смирно!» – передняя лошадь выразительно мотала головой, гремя всем, что было на ней напутано, как бы желая сказать, что, по ее мнению, втащить карету на гору никак нельзя. И каждый раз, как передняя лошадь производила такое громоподобное впечатление, пассажир нервно вздрагивал и смущался в душе.

Все лощины были полны тумана, который тоскливо всползал вверх по откосам холма, как нечистый дух, ищущий покоя и не находящий его. Туман был липкий, пронзительно-холодный и клубился в воздухе слоями, медленно надвигая один слой на другой подобно волнам какого-то ядовитого моря. Он был так густ, что заслонял все окрестные виды, и свет каретных фонарей только и освещал сами фонари да несколько ярдов дороги; а пар, валивший от лошадей, смешиваясь с окружающим туманом, производил такое впечатление, как будто и весь туман шел от них же.

Двое других пассажиров помимо того одного также брели в гору рядом с каретой. Все трое были закутаны по самые уши и даже выше. Все трое были в высоких ботфортах. Ни один из них не мог бы догадаться, на что похож каждый из других сам по себе, и так же тщательно кутал от спутников свое звание и образ мыслей, как и свою внешность. В ту пору путешественники неохотно друг с другом знакомились, так как всякий встречный на большой дороге мог оказаться разбойником или в стачке с разбойниками. На каждой станции, на каждом почтовом дворе и в каждом придорожном кабаке был кто-нибудь на жалованье у капитана, и такими подручными его агентами бывали не только мелкие слуги и конюхи, но и сами хозяева гостиниц, так что подобное предположение всегда было в высшей степени вероятно. Так по крайней мере думал про себя кондуктор дуврского дилижанса в ту пятницу вечером в конце ноября тысяча семьсот семьдесят пятого года, стоя на своей подножке позади кареты, топчась от холода на месте, зорко глядя вперед и одной рукой придерживаясь за стоявший перед ним ящик с оружием, где сверху лежал заряженный мушкетон, под ним штук шесть или восемь заряженных седельных пистолетов, а на дне еще слой кортиков.

Дуврский почтовый дилижанс находился в своем нормальном состоянии в том отношении, что кондуктор подозрительно косился на пассажиров, а пассажиры друг на друга и на кондуктора; все подозревали всех, и кучер был уверен только в своих лошадях и с чистой совестью присягнул бы и на Ветхом, и на Новом Завете, что эти скоты никуда не годились.

– Ну-ну! – сказал кучер. – Пошевеливайся! Понатужьтесь еще маленько, тогда и доберемся до вершины, провал бы вас взял... Намучился я с вами!.. Джо-о!

– Ну? – отозвался кондуктор.

– Ты как думаешь, Джо, который теперь час?

– По крайней мере минут десять двенадцатого.

– Вишь ты! – молвил кучер с досадой. – А все еще не въехали на Шутеров холм. Эй! Ну-ну! Вперед, что ли!

Передняя лошадь только что принялась с величайшей энергией отрицательно трясти головой, как удар хлыста помешал ей продлить это заявление: она дернула вперед, и остальные три лошади последовали за ней. Дуврский дилижанс опять тронулся в гору, и сапоги пассажиров снова начали месить грязь. Они останавливались в одно время с ним и не отставали от него ни на шаг.

Если бы хоть один из них отважился предложить которому-нибудь из спутников пройти немножко вперед, туда, где было темно и туманно, его, вероятно, тотчас пристрелили бы как разбойника.

Последнее усилие вывезло наконец почтовую карету на вершину горы. Лошади остановились отдохнуть, а кондуктор соскочил с подножки, затормозил колесо для спуска под гору и отворил дверцу кареты, чтобы впустить туда пассажиров.

– Тсс!.. Джо! – окликнул его кучер тоном предостережения и глядя с козел вниз.

– Ты что говоришь, Том?

Оба прислушивались.

– Я говорю, Джо, что за нами в гору мчится конь... рысью... Слышишь?

– А я говорю, вскачь! – отвечал кондуктор, выпустив из рук дверцу и вскакивая на свое место на запятках. – Джентльмены! Именем короля, приготовьтесь!

После такого поспешного воззвания он взвел курок у своего мушкетона и приготовился к обороне.

Пассажир, помянутый в начале этой главы, стоял на подножке, собираясь войти в карету, двое других намеревались последовать за ним, но он все еще стоял на подножке, наполовину просунувшись внутрь экипажа, а остальные оставались внизу на дороге. Все они посматривали то на кондуктора, то на кучера и прислушивались. Кучер оглянулся назад, кондуктор обернулся в ту же сторону; даже рьяная передняя лошадь повернула голову туда же и, насторожив уши, никому на этот раз не противоречила.

Тишина, наступившая после того, как дилижанс перестал скрипеть и грохотать, казалось, еще усиливала тишину самой ночи и впечатление общего безмолвия. Дыхание усталых лошадей сообщало карете легкое сотрясение, как будто она сама была в тревоге. У пассажиров сердца бились так шибко, что их почти можно было слышать; во всяком случае, в затишье явственно можно было различить ускоренное и вместе с тем сдержанное дыхание людей, кровь которых обращалась быстрее и от подъема в гору, и от напряженного ожидания.

Между тем слышен был бешеный галоп мчавшейся вверх по косогору лошади.

– Го-го! – крикнул кондуктор нараспев и как можно громче. – Эй, вы, кто там, стой, не то буду стрелять!

Лошадь замедлила бег, шлепая по лужам и расплескивая грязь, и из тумана раздался человеческий голос:

– Это ли почтовая карета в Дувр?

– А тебе что за дело? – возразил кондуктор. – Ты кто такой?

– Это ли дуврский почтовый дилижанс?

– Зачем тебе?

– Мне нужно видеть одного из пассажиров, коли это почта.

– Которого пассажира?

– Мистера Джервиса Лорри.

Отмеченный нами пассажир тотчас заявил, что его так зовут. Кондуктор, кучер и остальные два пассажира взглянули на него недоверчиво.

– Стой, где стоишь! – крикнул кондуктор по направлению голоса из тумана. – Не то я неравно ошибусь, и тогда тебе несдобровать! Джентльмен по имени Лорри, отвечайте ему.

– В чем дело? – произнес пассажир робким и дрожащим голосом. – Кто меня спрашивает? Джерри, это вы?

– Не нравится мне голос Джерри, коли это точно Джерри, – пробурчал себе под нос кондуктор. – Больно уж он хрипло говорит, этот Джерри!

– Точно так, мистер Лорри.

– Что случилось?

– Дешешу вам привез, вдогонку послали, от «Т. и Ко».

– Кондуктор, я знаю посланного, – сказал мистер Лорри, слезая с подножки на дорогу, причем двое других пассажиров скорее быстро, чем вежливо, помогли ему в этом, немедленно сами влезли в карету, захлопнули дверцу за собой и подняли оконное стекло. – Позвольте ему подъехать поближе: опасности нет никакой.

– Будем надеяться, что нет, хоть я и не больно в этом уверен, – проворчал кондуктор. – Эй, вы!

– Я, что ли? – сказал Джерри еще более хриплым голосом.

– Подъезжайте шагом; слышите вы, что я говорю? И коли у вас есть кобуры у седла, уберите от них руки подальше, а не то смотрите у меня. Я человек горячий и могу ошибиться, того и гляди всажу в вас пулю невзначай... Ну, дайте на себя поглядеть.

Из тумана медленно выделилась фигура всадника и его лошади, тихим шагом подъехавшей к дилижансу с той стороны, где стоял пассажир. Всадник нагнулся, взглянул на кондуктора и подал пассажиру сложенную бумажку. Лошадь его тяжело дышала, и оба они, конь и ездок, были покрыты грязью от копыт лошади до шляпы ездока.

– Кондуктор! – произнес пассажир тоном успокоительным, деловым и конфиденциальным.

Бдительный кондуктор, держа правую руку на курке, а левой ухватившись за ствол приподнятого мушкетона и не спуская глаз с ездока, отрывисто отвечал:

– Сэр?

– Вы ничего не опасайтесь. Я служу в банке у Тельсона. Вам известна банкирская контора Тельсона в Лондоне? Я еду в Париж по делам. Дам крону на водку. Можно мне это прочесть?

– Коли недолго, так читайте, сэр.

Пассажир развернул бумажку и при свете каретного фонаря прочел сначала про себя, потом вслух: «В Дувре подождите барышню».

– Видите, кондуктор, уж, кажется, недолго... Джерри, скажите, что мой ответ таков: «Возвращен к жизни».

Джерри привскочил на седле.

– Вот так ответ... диковинный! – произнес он совсем охрипшим голосом.

– Так и скажите им от меня, тогда они будут знать, что я получил их записку, все равно как бы я написал ответ. Возвращайтесь назад как можно скорее. Прощайте!

С этими словами пассажир отворил дверцу и полез внутрь дилижанса. Остальные пассажиры и не думали ему помогать: еще раньше они поскорее спустили и запрятали в сапоги свои часы и кошельки, а теперь притворялись спящими без всякого иного повода, кроме желания избежать каких бы то ни было действий.

Почтовая карета потащилась дальше, и, по мере того как спускалась с холма, туман обступал ее все гуще.

Кондуктор вскоре положил мушкетон обратно в оружейный ящик, предварительно осмотрев, все ли там в целости, потом освидетельствовал запасные пистолеты, бывшие у него за поясом, и наконец осмотрел небольшой сундучок, бывший у него под сиденьем и содержащий кое-какие кузнечные инструменты, пару факелов и коробку с огнивом. Он был человек

исправный и запасливый, так что, если бы, паче чаяния, каретные фонари потухли или разбились во время бури, что тоже иногда случалось, ему стоило только хорошенько затвориться от ветра внутри дилижанса, высечь огня, изловчившись, чтобы искры не попали в наваленную на полу солому, да и зажечь свечку; при особенно благоприятных условиях эту операцию можно было произвести в каких-нибудь пять минут.

– Том! – вполголоса окликнул он кучера через верх кареты.

– Ну, Джо?

– Ты слышал, какой ответ посылали?

– Слышал, Джо.

– Как по-твоему, что оно означает, Том?

– Да ничего.

– Слово в слово, – молвил кондуктор задумчиво, – и мне то же самое показалось.

Тем временем Джерри, оставшись один в темноте и тумане, слез с лошади, желая не только облегчить измученную животину, но и самому маленько оправиться. Он обтер грязь с лица, вылил воду с полей шляпы, которая могла вместить до трех бутылок жидкости, и, перекинув поводья через руку, густо замазанную грязью, подождал, пока замолк в отдалении грохот колес почтовой кареты. Когда все снова стихло, он повернулся и пешком пошел вниз по дороге, ведя лошадь за собой.

– После такой скачки от самой заставы Темпла<sup>6</sup> небось станешь припадать на передние ноги, старушка; так уж я до тех пор на тебя не сяду, пока не выедем на ровную дорогу, – хрипло сказал гонец, глядя на свою кобылу. – «Возвращен к жизни». Вишь ты, какой чудной ответ! Кабы это часто случалось, плохо бы тебе пришлось, Джерри! Ась? Кабы вдруг вошло в моду «возвращать к жизни», Джерри, это была бы совсем неподходящая для тебя статья!

---

<sup>6</sup> В старину на главных улицах, ведущих в Сити, были устроены заставы. Одна из них находилась у Темпла, бывшего сначала монастырем рыцарского ордена тамплиеров, а впоследствии собственностью адвокатской корпорации.

### Глава III. Ночные тени

Достоин размышления тот удивительный факт, что каждый человек по самой сущности своей представляет тайну и загадку для всякого другого человека. Когда я ночной порой въезжаю в большой город, на меня особенно глубокое впечатление производит мысль, что в каждом из этих мрачно толпящихся домов заключается свой особый секрет, что в каждой комнате каждого из них – своя тайна; и сколько бы сотен тысяч сердец ни билось в этих домах, каждое из них хоть в каком-нибудь отношении хранит свой секрет от ближайшего к нему сердца. Благоговейный ужас, навеваемый такими размышлениями, имеет нечто общее с таинственной загадкой смерти. Вот дорогая книга, которую я так любил и надеялся прочесть подробно и до конца, закрылась для меня, и никогда больше не стану я ее перелистывать. Никогда больше не могу заглядывать в бездонную глубь тех вод, где при свете случайно проникавших туда лучей виднелись мне потопленные дивные сокровища. Было предназначено, чтобы эта книга внезапно захлопнулась на веки веков, тогда как я успел прочесть только одну страницу. И было предназначено, чтобы та вода превратилась в вечный лед и мороз сковал ее в непроницаемую глыбу, пока свет играл на ее поверхности, а я стоял на берегу и ничего не понимал. Умер мой друг, умер мой ближний, умерла моя возлюбленная – сокровище моей души, – и этим неумолимо подтверждается и продолжается на все будущие века тот секрет, который всегда заключался в личности того или другого человека, – секрет, который и я буду всегда носить в себе до конца моей жизни. Проходя мимо многих кладбищ этого города, я сознаю, что ни один из покоящихся там не более загадочен для живущих людей, чем каждый из живущих людей для меня, да и для каждого из них.

Что до этого естественного и неотчуждаемого наследия человеческой природы, верховой гонец был одарен им в такой же степени, как и сам король, его первый министр и богатейший из лондонских купцов. То же можно сказать и о трех пассажирах, запрятанных в тесном пространстве старого, расшатанного почтового дилижанса. Друг для друга они были такой же непроницаемой тайной, как будто каждый из них ехал отдельно, в собственной карете шестериком, и притом по различным дорогам.

Гонец ехал назад рысцой, нередко останавливаясь у придорожных кабаков, чтобы выпить, но он не выказывал желания поболтать, а надвигал себе на глаза шляпу как можно ниже. Эти глаза были под стать его шляпе: такие же черные, неглубокие, выцветшие. Они сидели очень близко друг к другу, как будто боялись быть пойманными в одиночку, а потому и подвинулись поближе один к другому. Выражение их было зловещее, и они мрачно выглядели из-под старой большой треугольной шляпы из разряда тех, что так похожи на плевательницу; а вокруг его шеи был повязан огромный шарф, спускавшийся почти до самых колен и закрывавший всю нижнюю часть его лица. При остановках для выпивки он левой рукой отворачивал шарф только на то время, пока вливал в себя жидкость правой рукой, и тотчас после этого опять закутывал свой подбородок.

– Нет, какова штука! – говорил гонец, размышляя все на ту же тему и едучи путем-дорогой. – Нет, Джерри, это для нас статья неподходящая. Мы с тобой честные промышленники, Джерри, но в нашем деле это совсем некстати. *Возвращается...* Вишь ты! Ей-богу, должно быть, он это сказал с пьяных глаз.

Ответ, который поручили ему передать, озадачил его до такой степени, что он несколько раз хватался за шляпу с намерением почесать в голове. За исключением макушки, почти совсем плешивой, остальная голова была покрыта жесткими щетинистыми черными волосами, которые росли очень низко, почти до самого носа, широкого и приплюснутого. Волосы его казались изделием кузницы: они были похожи на утыканный гвоздями забор; играя с ним в

чехарду, самый искусный прыгун мог бы убояться перескакивать через его голову из опасения наткнуться на острия.

Пока он ехал рысцой с ответом, который должен был передать ночному сторожу, караулившему в будке у двери Тельсонова банка, что близ Темплских ворот, – этот сторож обязан был передать ответ властям, заседавшим в недрах конторы, – ночные тени по сторонам дороги принимали в глазах всадника различные призрачные формы, соответственные смыслу везомого им загадочного ответа; а кобыле, вероятно, чудилось тоже что-нибудь страшное: она то и дело шарахалась в сторону.

Тем временем почтовый дилижанс грохотал, скрипел, качался и подскакивал дальше на своем горемычном пути, заключая в своих недрах все те же три неисповедимые загадки. Ночные тени осаждали и их, выводя перед их сонными глазами и взбудораженным мозгом всевозможные видения и образы.

Тельсонов банк играл значительную роль в этих снах. Служивший в банке пассажир сидел, просунув руку в кожаную петлю и держась за нее так крепко, чтобы по мере возможности не стукаться о своего соседа и усидеть в своем углу в тех случаях, когда карету встряхивало с особой силой; сидел он с полужакрытыми глазами, и сквозь ресницы слабо мерцали перед ним боковые окошечки кареты и передний фонарь и смутно чернела грузная фигура пассажира, сидевшего напротив. Мало-помалу эта закутанная фигура превратилась в банкирскую контору и стала вершить крупные дела. Дребезжание кареты обратилось в звяканье деньгами, и в течение пяти минут по векселям были выплачены такие суммы, каких у Тельсона не выдавали и в четверть часа, даром что у него было довольно сношений с английскими и заграничными банками. Потом открылись перед ним кладовые в подвальном помещении Тельсона со всеми известными ему в этих пределах сокровищами и тайнами (а это совсем не безделица), и он ходил среди них со связкой тяжелых ключей и с тускло мерцавшей свечой и нашел, что все там цело, крепко, надежно и тихо, как он видел в последний раз.

Но хотя банк почти неотлучно участвовал во всех его грезах, да и дилижанс тоже смутно чувствовался все это время (наподобие того, как под влиянием наркотического средства все-таки смутно ощущается боль), было еще одно ощущение, непрерывной нитью проходившее через все остальное. Ему чудилось, что он едет откапывать кого-то из могилы.

Которое из лиц, вереницей возникавших перед ним в мелькании ночных теней, принадлежало тому, кого он должен был выкопать, он не знал; ночные тени не указывали этого; все они были лицом человека в возрасте около сорока пяти лет, и главное различие их состояло в том, какие страсти выражались на этом лице и какова была степень его изможденности, бледности и худобы. Гордость, презрение, гнев, упрямство, покорность, смирение попеременно отражались на этом лице со впалыми щеками, с землистым оттенком кожи, иссохшими руками и телом. Но в главных чертах лицо, с его преждевременно седыми волосами, было все одно и то же. Сто раз дремавший пассажир обращался к этому призраку с вопросами:

– Давно ли вы погребены?

И ответ был все тот же:

– Почти восемнадцать лет назад.

– Вы потеряли надежду, что вас когда-нибудь откоплют?

– Давно потерял.

– Вам известно, что вы возвращаетесь к жизни?

– Так говорят.

– Надеюсь, что вам хочется жить?

– Не могу сказать.

– Показать вам ее? Хотите ее увидеть?

На этот вопрос ответы получались разные, иногда противоположные. Говорилось и так:

– Пойдите! Если я ее увижу слишком скоро, это может убить меня.



Иногда призрак разражался потоком слез и нежно произносил:

– Ведите меня к ней!

Иногда он был ошеломлен и, уставившись глазами в пространство, отвечал:

– Я не знаю, кто это, не понимаю.

После такого воображаемого разговора пассажир мысленно принимался рыть то заступом, то большим ключом, то просто руками, стараясь выкопать из земли это несчастное существо. Вот оно наконец извлечено из могилы, на лице и в волосах приставшие комья земли... и вдруг оно распадается в прах... Пассажир вздрагивал, просыпался и опускал оконное стекло, чтобы ощутить наяву реальное впечатление туманной сырости и дождя у себя на щеках.

Но даже и тогда, когда он с открытыми глазами смотрел на дождь и туман, на движущийся круг света, отбрасываемый фонарем, на полосу придорожной изгороди, мелькавшей мимо, ночные тени внешнего мира путались с ночными тенями его душевного состояния. Он ясно помнил банкирскую контору у Темплских ворот, и то, что он вчера там делал, и кладовые подвального этажа, и нарочного, присланного за ним вдогонку, и посланный ответ – все представлялось ему вполне реально. Но среди всех этих фактов действительности вставал вдруг призракный образ, и опять он вопрошал его:

– Давно ли вы погребены?

– Почти восемнадцать лет назад.

– Надеюсь, что вам хочется жить?

– Не могу сказать.

И снова он роет и роет, пускает в ход и заступ, и пальцы, пока нетерпеливое движение которого-нибудь из спутников не напомним ему, что пора закрыть окно.

Он поднимает стекло, продевает руку в ременную петлю, усаживается плотнее в угол и начинает разглядывать своих двоих задремавших соседей, пока нить размышлений не приводит его опять к банкирской конторе и к могиле.

– Давно ли вы погребены?

– Почти восемнадцать лет назад.

– Вы утратили надежду, что вас когда-нибудь отроют?

– Давно потерял.

Он только что слышал эти слова, и слышал явственно, как нельзя лучше, и вдруг вздрогнул, проснулся и увидел, что настало утро и ночные тени исчезли.

Опустив стекло, он выглянул наружу, на восходившее солнце. Перед ним тянулась борозда вспаханной земли и тут же лежал плуг, оставленный с вечера, когда выпрягли и увели лошадей. По ту сторону пашни виднелась тихая роща молодых деревьев, на которых еще оставались кое-где ярко-пунцовые и золотисто-желтые осенние листья. Почва была холодная и влажная, но небо чисто, и сияющее солнце вставало ясно, великолепно и радостно.

– Восемнадцать лет! – проговорил пассажир, глядя на солнце. – Боже Милостивый! Творец света дневного! Быть погребенным заживо в течение восемнадцати лет!

## Глава IV. Подготовка

Когда почтовая карета еще до полудня благополучно приехала в Дувр и остановилась перед гостиницей «Король Георг», старший лакей, по обыкновению, собственноручно распахнул дверцу дилижанса. Это совершалось с соблюдением некоторой торжественности, потому что в ту пору было с чем поздравить предприимчивого путешественника, в почтовом экипаже приехавшего из Лондона в Дувр.

К тому времени внутри кареты оставался только один такой предприимчивый путешественник, потому что двое других пассажиров вышли раньше и отправились, куда им следовало. Заплесневевшая внутренность дилижанса, наполненного сырой и грязной соломой, своим неприятным запахом и темнотой напоминала собачью конуру просторных размеров. А мистер Лорри, пассажир, вылезая оттуда и отряхиваясь от приставшей к нему соломы, укутанный в мохнатое одеяло, в шапке с наушниками и в забрызганных грязью ботфортах, был похож на собаку крупной породы.

– Служитель, завтра отправляют почтовое судно в Кале?

– Точно так, сэр, если погода позволит и ветер будет попутный. Часа в два пополудни начинается отлив, сэр, и это тоже поможет отплыть. Прикажете приготовить кровать, сэр?

– Я до ночи спать не лягу, но мне все-таки нужна спальня, и достаньте мне цирюльника.

– А потом извольте завтракать, сэр? Слушаю, сэр. Сюда пожалуйста, сэр... Эй, проводите джентльмена в Конкордию. Помогите джентльмену снять сапоги в Конкордии... Камин топится, сэр; извольте сами убедиться, что углей довольно. Позовите цирюльника в Конкордию! Ну же, пошевеливайся... Эй, вы, в Конкордию!

Комната, именовавшаяся Конкордией, всегда отводилась пассажиру, приезжавшему в почтовой карете (а таковые всегда бывали чрезвычайно плотно закутаны с головы до ног), поэтому представляла для прислуги гостиницы «Король Георг» тот интерес, что в Конкордию входили весьма однородные с виду пассажиры, но выходили оттуда джентльмены всех возможных сортов и разрядов; вследствие этого другой лакей, двое носильщиков, несколько горничных и сама хозяйка постоянно и как бы случайно вертелись на пути между общим залом и Конкордией, когда оттуда вышел джентльмен лет шестидесяти, прилично одетый в полную пару платья коричневого цвета, довольно поношенную, но хорошо сохранившуюся, с большими четырехугольными обшлагами у рукавов и с такими же отворотами у карманов; он прошел в общий зал.

На ту пору там никого не было, кроме него. Завтрак накрыт был на особом столике у камина; он сел и при свете пылавшего огня сидел так смирно в ожидании кушанья, как будто с него собирались писать портрет.

Вид он имел чрезвычайно аккуратный и методический и сидел, положив ладони на колени, между тем как из-под длинных пол его жилета звонко тикали карманные часы, свидетельствуя о своей степенности и долговечности по сравнению с легкомысленным треском быстро преходящего огня в очаге. У него были стройные ноги, и он немножко щеголял ими, судя по тому, что носил коричневые чулки из тонкой пряжи, плотно облегавшие икры, и башмаки с пряжками, простые, но изящные. Носил он также маленький гладкий белокурый парик, плотно притянутый к голове и, вероятно, сделанный из человеческих волос, но такого вида, как будто его фабриковали из шелковых или из стеклянных нитей. Его белье было не так тонко, как чулки, но белизной не уступало морской пене, выбрасываемой волнами на соседний берег, или парусам, что сверкали на солнце в открытом море, вдаль. Его лицо, обыкновенно спокойное и чинное, все еще освещалось влажно блестящими глазами, и позволительно было думать, что владельцу их в былые годы стоило немалого труда приучить их к тому степенному и сдержанному выражению, которое было обязательно в конторе Тельсонова банка. Щеки у него были

румяные, и хотя слегка морщинисты, но на лице не было отпечатка тревог и житейских волнений. Это происходило, вероятно, оттого, что холостые служащие Тельсонова банка имели на плечах преимущественно чужие заботы: а чужие заботы, так же как и платье с чужого плеча, носятся небрежнее и легче скатываются с плеч, чем свои собственные.

В довершение сходства с человеком, с которого пишут портрет, мистер Лорри задремал сидя. Разбудил его лакей, принесший кушанье, и мистер Лорри сказал ему, поворачивая кресло к столику:

– Надо приготовить еще помещение для молодой леди, которая может приехать сегодня во всякое время. Она, вероятно, спросит мистера Джервиса Лорри, а может быть, просто джентльмена из Тельсонова банка. Тогда доложите мне немедленно.

– Слушаю, сэр. Тельсонов банк в Лондоне, сэр?

– Да.

– Точно так, сэр. Мы частенько имеем честь прислуживать вашим джентльменам; они ведь то и дело ездят взад и вперед между Лондоном и Парижем, сэр. Очень много ездят господа от конторы Тельсона и компании.

– Да, наш дом столько же французский, как и английский торговый дом.

– Точно так, сэр. Сами-то вы, кажется, не часто изволите ездить, сэр?

– В последние годы не ездил. Вот уж пятнадцать лет, как мы... то есть я... не был во Франции.

– Неужто, сэр? Стало быть, это было еще до меня, сэр. В то время никого из теперешних тут не было. Гостиница в ту пору была в других руках, сэр.

– Должно быть, так.

– Но я готов заложить порядочную ставку, сэр, что Тельсонов банк процветал не то что пятнадцать, а, пожалуй, и все пятьдесят лет тому назад.

– Смело можете утроить цифру; скажите «сто пятьдесят», и то не ошибетесь.

– Неужто, сэр?

Сомкнув губы сердечком и округлив глаза, лакей отступил на шаг от стола, перекинул салфетку с правой руки на левую, утвердился покрепче на одной ноге и все время, покуда гость ел и пил, надзирал за ним как бы с башни или с высоты сторожевой вышки, как, впрочем, все вообще трактирные слуги во все времена, везде.

Покончив с завтраком, мистер Лорри вышел прогуляться по морскому берегу. Маленький, узкий и кривой городишко Дувр словно морской страус уткнулся головой в меловые утесы. Побережье представляло собой пустынное зрелище нагроможденных камней, о которые бились морские волны: море делало что хотело, а хотело оно только разрушать. Оно с грохотом налетало на город, отчаянно ударялось об утесы, отрывало и уносило куски берегов. Воздух вокруг домов был так пропитан запахом рыбы, как будто больная рыба имела обыкновение купаться в нем, наподобие того как больные люди ходят купаться в море. В гавани рыбу ловили редко, а приходили туда ночью погулять, а главное, обращали взоры к морю, особенно перед началом прилива. Мелкие лавочники, торговавшие кое-какой дрянью, иногда вдруг оказывались обладателями крупного состояния. Замечательно, что в этой местности обыватели терпеть не могли, чтобы зажигались фонари.

Во весь день стояла ясная погода, и воздух был так прозрачен, что не раз можно было простым глазом рассмотреть французский берег; но под вечер поднялся туман, и мысли мистера Лорри также стали омрачаться. Когда стемнело, он опять присел к огню в общем зале, поджидая своего обеда, как поутру поджидал завтрака, и, устремив глаза на раскаленные угли, снова стал копать, копать, копать – на этот раз среди раскаленных углей.

Бутылка доброго красного вина – вещь невинная для подобного землекопа, хотя, пожалуй, с течением времени делает его неспособным к дальнейшему труду. Мистер Лорри долго сидел в полном бездействии, но с тем довольным видом, какой бывает у пожилого джентльмена

с румянцем во всю щеку, когда его бутылочка подходит к концу. Он только что налил себе в стакан последние капли вина, как услышал грохот колес, въезжавших сначала вверх по узкой и крутой улице, а потом во двор гостиницы.

Он поставил стакан на стол, не притронувшись к нему губами.

– Это Mam'selle! – промолвил он.

Через минуту пришел лакей и доложил, что мисс Манетт приехала из Лондона и очень желает видеть джентльмена от Тельсона и К<sup>о</sup>.

– Как, сейчас?

– Мисс Манетт закусывала дорогой и теперь ничего не хочет, ей только крайне желательно повидаться с джентльменом от Тельсона, если ему удобно и угодно пожаловать к ней.

Джентльмену от Тельсона только и оставалось после этого опорожнить свой стакан с видом отчаянной решимости, хорошенько надвинуть на уши белокурый парик и последовать за лакеем в комнату, отведенную для мисс Манетт.

Комната была большая, темная, мрачно меблированная, с обивкой из черного конского волоса и множеством тяжелых столов темного дерева. Они так часто полировались и натирались маслом, что две свечи, стоявшие посреди комнаты на столе, отражались слабым светом в каждом из них, как будто они были похоронены в глубине почерневшего красного дерева и до тех пор не дадут настоящего света, пока их не отроют.

Темнота была так непроницаема, что мистер Лорри, ошупью ступая по изношенному ковру, думал поискать молодую девицу в другой комнате, но, пройдя мимо свечей, вдруг увидел стоявшую между ними и топившимся камином мисс Манетт – особу лет семнадцати, движущуюся ему навстречу в дорожном плаще и с соломенной шляпкой, которую она держала в руке, ухватив ее за завязки. Он смотрел на эту грациозную фигурку небольшого роста, тоненькую, с хорошеньким личиком, обрамленным густыми золотистыми волосами, с вопросительными голубыми глазами и гладким лбом, который имел удивительную способность (принимая во внимание крайнюю ее молодость) быстро менять выражения: тревога, изумление, замешательство или просто оживленное внимание – все это сменялось с такой быстротой, что иногда казалось, будто все эти четыре выражения являются там одновременно, и, глядя на нее, он был вдруг поражен ее сходством с маленьким ребенком, которого он вез на руках через этот самый пролив в одну холодную зимнюю ночь, когда море под ними бушевало, а сверху обдавало их градом. Это видение мелькнуло перед ним и пропало, словно исчез след горячего дыхания с потускневшего зеркала, стоявшего за нею, в резной раме из черного дерева, изображавшей целый лазарет убогих черных купидонов (иные были без голов, и все калеки), предлагавших черные корзины с обгорелыми фруктами каким-то черным божествам женского пола... Видение исчезло, и мистер Лорри отвесил низкий поклон мисс Манетт.

– Прошу садиться, сэр, – произнесла она очень чистым и приятным молодым голосом с легким, очень легким иностранным акцентом.

– Целую ваши ручки, мисс, – отвечив мистер Лорри в духе старинной любезности и, еще раз поклонившись, сел на стул.

– Вчера я получила письмо из банка, сэр, с извещением, что есть новые сведения... или открытия...

– Это все равно, мисс; оба выражения равно приложимы.

– ...касательно имущества, оставшегося после моего бедного отца... Я его никогда не видала... Он так давно скончался!..

Мистер Лорри завозился на своем стуле и устремил смущенный взор на процессию увечных черных купидонов... Как будто в их нелепых корзинках можно было найти что-нибудь путное!

– ...и что поэтому мне нужно съездить в Париж и повидаться там с джентльменом из Тельсонова банка, который был так добр, что согласился ради этого ехать в Париж...

– Это я и есть.

– Так я и думала, сэр.

Она сделала ему реверанс (в те времена девицы еще делали реверансы) с милым намерением дать ему почувствовать, что она понимает, насколько он старше, почтеннее и умнее ее. Он опять встал и отвесил ей поклон.

– Я ответила банку, сэр, что если лица, знающие дело и благоволящие подать мне советы, считают нужным, чтобы я ехала во Францию, то я, будучи сиротой и не имея никого знакомых, кто мог бы проводить меня, сочла бы великой для себя милостью, если бы мне было дозволено совершить это путешествие под покровительством того достойного джентльмена. Он уже в то время выехал из Лондона, но, если не ошибаюсь, к нему послали нарочного с моей покорнейшей просьбой подождать меня здесь.

– Мне весьма лестно, – сказал мистер Лорри, – что на меня возложили такое поручение, и еще более лестно мне будет исполнить его.

– Сэр, я вам чрезвычайно благодарна; премного обязана вам. В банке мне сказали, что джентльмен объяснит мне все подробности дела и что я должна приготовиться к тому, что узнаю нечто изумительное. Я старалась приготовиться как умела, а теперь, натурально, сильнейшим образом желаю узнать, в чем дело.

– Весьма естественно! – сказал мистер Лорри. – Да... вот я...

Он запнулся, помолчал и сказал, надвигая на уши парик:

– Затрудняюсь, с чего начать.

Он колебался, взглянул на нее и встретился с ней взглядом. Она подняла брови с тем сложным и оригинальным выражением, которое придавало особую прелесть ее полудетскому личику, и в то же время протянула руку, как бы невольным движением желая поймать или удержать не то призрак, не то воспоминание.

– Вы... вы мне совсем посторонний человек, сэр?

– Посторонний ли?... – молвил мистер Лорри, подняв обе руки ладонями кнаружи и глядя на нее с улыбкой.

Между бровей, над ее тонким, деликатно выточенным носиком, залегла глубокая морщинка, и она задумчиво опустила в кресло, возле которого до сих пор стояла. Он наблюдал ее молча и, когда она вскинула на него глаза, заговорил снова:

– Здесь, на вашей приемной родине, вы мне позволите звать вас так, как у нас в Англии принято называть молодых девиц, мисс Манетт?

– Сделайте одолжение, сэр.

– Мисс Манетт, я человек деловой. Мне предстоит выполнить деловое поручение. Прошу вас, когда я приступлю к делу, не обращайтесь на меня внимания или смотрите просто как на говорильную машину. Это и есть в действительности мое назначение. С вашего позволения, я изложу вам историю одного из наших клиентов.

– Историю?

Он как бы с намерением не расслышал повторенного ею слова и поспешно продолжал:

– Ну да, клиента. Так мы называем джентльменов, с которыми имеем постоянные дела. Он был родом француз; ученый джентльмен... чрезвычайно образованный, даже доктор медицины...

– Из Бове?

– Гм... да, из Бове... Как и ваш батюшка, господин Манетт, тот джентльмен был также из Бове; и, так же как господин Манетт, этот джентльмен пользовался в Париже весьма хорошей репутацией. Там я имел честь с ним познакомиться. Мы имели сношения делового характера, но я был его доверенным лицом. В то время я служил во французском отделении нашей конторы и жил там... о, лет двадцать.

– В то время... позвольте узнать, сэр, о каком времени вы говорите?

– Я говорю, мисс, о том, что было тому назад двадцать лет. Он женился на... на англичанке, и я был одним из попечителей над его имуществом. Все его дела, равно как дела многих других французских джентльменов и французских фамилий, находились в руках Тельсона. А потому я был, да и теперь состою, поверенным или опекуном многих клиентов нашего дома. Все это отношения чисто делового характера, мисс; тут нет ни дружбы, ни личной привязанности и вообще ничего похожего на чувство. В течение деловой моей жизни я занимался делами то одного, то другого лица, точно так же в течение дня, сидя в конторе, перехожу от одного клиента к другому. Короче говоря, чувств у меня никаких... я машина, и больше ничего. Возвращаясь к нашему предмету...

– Но ведь это история моего отца, сэр; я начинаю думать (нахмуренный лобик уставился на него с самым внимательным выражением), что когда мать моя скончалась, только на два года пережив моего отца, и я осталась круглой сиротой, то именно вы и привезли меня в Англию. Я почти уверена, что это были вы.

Мистер Лорри взял нерешительно протянутую ему ручку и довольно церемонно приложился к ней губами. Потом он подвел молодую девушку обратно к ее креслу, усадил и, держась левой рукой за спинку этого кресла, а правой то потирая себе подбородок, то поправляя парик, то выделявая в воздухе различные фигуры для подтверждения своих речей, стал смотреть на нее сверху вниз, между тем как она подняла к нему свое лицо.

– Мисс Манетт, это был я. И вот видите, как я прав, говоря, что я человек без всяких чувств и что все мои сношения с ближними только деловые; ведь с той поры я ни разу не виделся с вами. С той поры вы все время состояли под опекой Тельсонова банка, а я занимался банковыми делами у Тельсона – только и всего. Какие тут чувства. Не до них мне, да и некогда ими заниматься. Вся моя жизнь проходит в том, что я, ухватившись за рукоятку, верчу громадное денежное колесо.

Дав такое странное определение своей повседневной деятельности, мистер Лорри обеими руками прихлопнул к голове свой парик (что было совершенно излишне, так как он и без того сидел вполне гладко) и принял прежнюю позу.

– До сих пор, мисс, как вы изволили заметить, эта история похожа на историю вашего покойного отца. Теперь пойдет другое. Если бы ваш батюшка тогда не умер... Не пугайтесь. Как вы вздрогнули!

Она встrepенулась с головы до ног и обеими руками ухватила за его руку.

– Ну, полноте, – сказал мистер Лорри успокоительно, сняв со спинки свою левую руку и поглаживая ею дрожащие пальчики, обвившиеся вокруг его правой, – пожалуйста, уймите свое волнение... ведь у нас деловой разговор... Итак, я говорю...

Ее умоляющий взгляд так расстроил его, что он сбился, помолчал, потом начал сызнава:

– Я говорю, если бы господин Манетт не умер, а вместо того внезапно и таинственно исчез; если бы его вдруг похитили и упрятали в такое место, что никакими средствами нельзя было отыскать его следов; если бы у него был среди соотечественников такой могущественный враг, который мог воспользоваться особой привилегией, о которой, как я сам бывал свидетелем, даже нахрабрейшие люди отзывались шепотом, с опаской; так, например, существует во Франции такая привилегия, что от имени короля выдаются бланки, на которых стоит только вписать чье-нибудь имя, и этого человека заключат в темницу на какой угодно срок... И если бы жена его понапрасну умоляла короля, королеву, придворных, лиц судебного ведомства, духовенство, умоляла о том, чтобы ей дали о нем хоть какие-нибудь сведения, и ничего не добились... Вот тогда история вашего отца была бы тождественна с историей этого джентльмена... Доктора из Бове.

– Умоляю вас, сэр, продолжайте.

– Сейчас... Непременно! Вы в состоянии выслушать?



– Я в состоянии перенести что угодно, только бы не томиться неизвестностью, а вы меня томите.

– Вы говорите решительно, и вы... в самом деле такая решительная. Это хорошо! (На словах он был доволен, но на деле сильно тревожился.) Мы ведем деловой разговор... Вы так и рассматривайте предмет, как дело, требующее спокойного обсуждения. Ну и положим, что жена этого доктора, дама с большим характером, так намучилась этим еще прежде, нежели родился на свет ее младенец...

– Этот младенец был девочка, сэр.

– Девочка, да. И... и... мы говорим о делах... вы не волнуйтесь... И положим, мисс, что эта бедная дама так намучилась еще до рождения ребенка, что решила избавить свое бедное дитя хоть от некоторой части пережитых ею страданий и ради этого надумала воспитать свою дочку так, чтобы она считала своего отца умершим... Нет, зачем... ради бога, зачем вам передо мной становиться на колени?

– Умоляю вас, скажите правду... Милый, добрый, сострадательный сэр, скажите всю правду!

– Э... э... ведь мы о делах... Вы меня конфузите, а как же я буду вести деловой разговор, коли я сконфужен? Тут необходимо хладнокровие. Вот если бы вы мне изволили сказать, например, много ли составят девять раз девять пенсов или сколько шиллингов в двадцати гинеях, это бы меня ободрило. Я бы сам оправился, да и насчет вашего душевного состояния был бы спокойнее.

Не давая прямого ответа на такое заявление, она сидела так смирно, после того как он потихоньку поднял ее с колен и посадил в кресло, и ее руки, не отрывавшиеся от его руки, дрожали настолько менее прежнего, что мистер Джервис Лорри до некоторой степени тоже успокоился.

– Это хорошо, очень хорошо! Мужайтесь. Мы о деле рассуждаем. И вам предстоит заняться делом, полезным делом. Мисс Манетт, мать ваша так и поступила относительно вас. И когда она скончалась, кажется, от разрыва сердца, до самого конца не переставая тщетно разыскивать вашего отца, вам было от роду два года, и вот вы росли спокойно и счастливо и расцвели, как прекрасный цветок, не ведая мучительной заботы о том, умер ли ваш отец, истощив свои силы в тюрьме, или еще жил там многие годы.

Говоря это, он смотрел на нее сверху вниз с нежной жалостью, любясь ее пышными золотистыми волосами и как бы думая, что и они могли преждевременно подернуться сединой.

– Вам известно, что у ваших родителей не было большого состояния; а что было, то закреплено за вашей матерью и за вами. С тех пор ничего нового не открыли ни по части денег, ни другого имущества; только...

Он почувствовал, что она крепче сжала его руку. Выражение ее лица с приподнятыми бровями, с первого взгляда поразившее его своей оригинальностью, застыло теперь в припадке скорбного ужаса.

– Только он... он сам отыскался. Он жив. По всей вероятности, сильно изменился; возможно, что захирел... хотя, будем надеяться, не совсем. Но все-таки жив. Ваш отец перевезен в дом одного старого слуги в Париже; и мы поедем туда; я – с тем, чтобы, буде возможно, признать его личность, а вы – вернуть его к жизни, любить, покоить и всячески утешать.

Дрожь пробежала по ее телу, а через нее сообщилась и ему. Она произнесла тихо, внятно, благоговейно, как будто говорила во сне:

– Я увижу лишь его призрак... Это будет его призрак, а не он.

Мистер Лорри тихонько похлопывал по ручкам, впившимся в его руку.

– Ну вот, ну вот... Теперь хорошо... И отлично. Теперь вы все знаете, и лучшее и худшее. И вы на пути к бедному пострадавшему папеньке; и вот, коли Бог даст благополучно перепра-

виться за море да благополучно совершить сухопутный переезд, вы скоро, очень скоро будете с ним.

Она произнесла тем же тоном, переходившим теперь в шепот:

– А я-то все время жила на воле, была счастлива, и никогда мне не являлся его призрак!

– Еще вот что я вам скажу, – молвил мистер Лорри значительно, желая отвлечь ее внимание от мучительных представлений, – он найден под другим именем; его собственная фамилия или давно позабыта, или ее скрывали; теперь уж более чем бесполезно справляться, позабыли ли его в тюрьме или с намерением держали так долго; более чем бесполезно наводить какие бы то ни было справки: это опасно. Лучше совсем не упоминать об этом обстоятельстве, нигде и никогда не делать никаких намеков на него и увезти его, по крайней мере на некоторое время, из Франции. Даже и я сам, даром что английский подданный, притом служащий в Тельсоновом банке, что дает мне особый вес на французской почве, ни единым словом не смею намекнуть на эти обстоятельства, не везу ни единого писаного клочка, имеющего отношение к этому предмету. Мне дали поручение под строжайшим секретом; а все мои полномочия, памятные записки и рекомендательные письма заключаются в одной строке: «Возвращен к жизни», которую можно истолковать как угодно... – Но что же это такое? Она и не слышит, что я говорю!... – Мисс Манетт!

Она сидела совершенно неподвижно и прямо, даже не откинувшись на спинку кресла, точно окостенела под его рукой, без чувств, с открытыми глазами, уставившись на него все с тем же скорбным и напряженно-испуганным выражением, как бы высеченным или выжженным у нее на лице. Она так крепко стиснула ему руку, что он боялся отцепить ее пальцы, опасаясь повредить ей, а потому громко стал звать на помощь прислугу, не трогаясь с места.

Прежде всех вбежала в комнату безумного вида женщина. Невзирая на встревоженное состояние своего духа, мистер Лорри невольно заметил, что лицо у нее все сплошь красное, волосы тоже красные, платье необыкновенно плотно обтягивает всю ее фигуру, а на голове у нее какая-то удивительная шляпка, похожая не то на гренадерскую деревянную манерку обширных размеров, не то на большой стильтонский сыр. Ринувшись вперед и оставив далеко за собой сбегавшихся слуг, она разом порешила вопрос об отцеплении его от бедной молодой девушки и дала ему в грудь такого тумака своей здоровенной рукой, что он отлетел и ударился спиной о ближайшую стену.

«Это, должно быть, мужчина!» – решил про себя мистер Лорри в момент своего столкновения со стеной.

– Да что же вы стоите? – гаркнула эта особа, обращаясь к трактирной прислуге. – Чем стоять да глядеть на меня разинув рты, пошли бы да принесли, что нужно. Что вы на меня уставились? Ступайте же, несите нюхательного спирту, холодной воды, уксусу! Ну, живо! Не то вот я вам задам!

Прислуга мигом разбежалась в разные стороны за означенными медикаментами, а она бережно отнесла пациентку на диван, уложила ее очень искусно и нежно, называя «сокровище мое, птичка моя», и не без гордости тщательно расправила по плечам ее роскошные золотистые волосы.

– Эй, вы, коричневый кафтан! – обратилась она к мистеру Лорри с большим негодованием. – Разве нельзя было сказать ей того, что вы ей говорили, не перепугав ее до смерти? Взгляните-ка на это милое бледное личико и на холодные ручки... И *это* у вас называется служить в банке?!

Столь затруднительный вопрос так озадачил мистера Лорри, что он мог лишь смиренно стоять и издали следить сочувственным оком – следить за тем, как эта мощная женщина, разогнав слуг таинственной угрозой *задать* им чего-то, если они немедленно не перестанут глазеть и не уберутся вон, постепенно привела девушку в чувство и уговорила ее положить ослабевшую головку к ней на плечо.

– Теперь, надеюсь, она совсем оправится, – сказал мистер Лорри.

– Коли оправится, то не по вашей милости, коричневый кафтан!.. Милочка моя, бесценная.

– Надеюсь, – сказал мистер Лорри, помолчав некоторое время с видом смирения и беспомощной симпатии, – что вы изволите сопровождать мисс Манетт во Францию?

– Ну нет, покорно благодарю! – ответила мощная женщина. – Если бы Богу было угодно, чтобы я плавала по соленым водам, разве Он дозволил бы мне родиться на острове?

На этот вопрос было еще труднее ответить, и мистер Джервис Лорри удалился в свою комнату, чтобы как следует обдумать его.

## Глава V. Винная лавка

Большая бочка с вином упала и разбилась среди улицы. Это случилось в ту минуту, когда бочку снимали с телеги: она с грохотом вывалилась на мостовую, обручи лопнули, бочка расселась перед самыми дверями винной лавки и рассыпалась наподобие ореховой скорлупы.

Все ближайшее население побросало свои дела и безделье и сбежалось к этому месту пить вино. Грубые, неотесанные камни мостовой, торчавшие остриями во все стороны и как бы нарочно приспособленные к тому, чтобы увечить каждого из проходящих, образовали вместилища, где вино задерживалось в виде лужиц, и вокруг каждой такой лужицы собрались тесные кучки людей. Мужчины, стоя на коленях, зачерпывали вино горстями и пили его прямо из руки или пытались поить женщин, которые тянулись через их плечи и пили, пока вино не уходило между пальцев. Другие мужчины и женщины черпали из лужиц глиняными черепками от битой посуды или, сорвав платок с женской головы, пропитывали его вином и выжимали досуха во рты маленьким детям. Третьи устраивали из уличной грязи крошечные плотины, чтобы задержать бегущее вино, а зрители, высовываясь из окон верхних этажей, кричали им оттуда, куда потекла новая струя, и они бросались в ту сторону и ловили ее там. Некоторые занялись исключительно обломками бочки с насевшими на них подонками, облизывали их и жадно сосали кусочки дерева, пропитанные винной жидкостью. Никаких приспособлений для уличных стоков не было на этой улице, вино не уходило в почву и все было выпито; но вместе с ним было проглочено столько грязи, что посторонний человек, незнакомый с местными нравами, мог бы вообразить, что улицу только что вычистили, чего никогда не бывало.

Все время, пока происходила эта винная забава, на улице раздавались пронзительный смех и веселые возгласы. Грубой толкотни не было; общее настроение было только шутовское и радостное. Заметна была большая общительность и стремление к товариществу, желание с кем-нибудь сблизиться; у тех, кому жилось полегче или кто был от природы беспечнее, это выражалось в том, что они обнимались, провозглашали тосты, пожимали друг другу руки или даже, сцепившись руками, танцевали группами человек по двенадцать.

Когда вина больше не осталось и те места, где оно скопилось всего обильнее, были так чисто выцарапаны пальцами, что на них образовался решетчатый узор, все эти проявления прекратились так же быстро, как начались: Дровяник, занимавшийся пилой дров и оставивший пилу среди полена, воротился к своему делу и снова начал пилить: женщина, поставившая у порога горшок с горячей золой, надеясь утешить ею ноющую боль своих исхудалых пальцев или согреть продрогшего ребенка, пошла к тому же порогу и унесла свой горшок; мужчины с засученными рукавами, всклокоченными волосами и изможденными лицами, вышедшие из подвалов на свет зимнего дня, опять спустились в свои подвалы; на все окружающее налегла печать мрачного уныния, казавшаяся здесь гораздо более на месте, нежели солнечный свет и веселье.

Вино было красное и окрасило этим цветом мостовую узкой улицы в предместье Сент-Антуан<sup>7</sup>, в Париже, где разбилась эта бочка с вином. Также окрасило оно много рук и лиц, босых ног и деревянных башмаков. Руки людей, пиливших дрова, оставили красные пятна на поленьях; у женщины, нянчившей ребенка, весь лоб был красный от той старой тряпки, которую она мочила в вине, а потом опять повязала себе на голову. Те, кто сосал деревянные клепки разбитой бочки, ходили точно тигры, вымазанные вокруг рта винной гущей, а один из них, шутник высокого роста, в грязном ночном колпаке, свесившемся длинным концом совсем на сторону, набрав грязных подонков на палец, вывел на стене: *Кровь*.

---

<sup>7</sup> Сент-Антуан – рабочий квартал в Париже; центр революционного брожения в конце XVIII в. и в XIX в.

Недалеко было то время, когда и этому вину предстояло окрасить мостовую, обагрив собой многих.

И вот мрачное предместье Сент-Антуан, на минуту озарившееся случайным лучом света и радости, снова погрузилось в обычное состояние, и водворились в нем холод, грязь, болезни, невежество и нищета – могущественные приспешники, – но всех сильнее была нищета. Все эти люди побывали в ужаснейших переделках; их мололи и перемалывали на мельнице, но, конечно, не на той сказочной мельнице, из которой старые люди выходят молодыми; они дрогли у каждого угла, входили и выходили из каждой двери, выглядывали из всех окошек, трепетали на ветру под лохмотьями и грязным тряпьем. Та мельница, в которой они перемалывались, из молодых выделяла стариков. У малых ребят были старческие личики и угрюмые голоса, и на всех, в каждой заостренной черте и в каждой морщинке, была особая печать – печать голода. Он господствовал над всеми и над всем. Голод вылезал из окон высоких домов, развеваясь на палках и шестах в виде нищенских ключев одежды; он затыкал стенные щели и оконные дыры пучками соломы, тряпья, деревянными чурками и бумагой. Голод повторялся в каждом куске скудного запаса дров, которые распиливались так скупно; он выглядывал из печных труб, из которых не валил дым, и из куч уличного мусора, в которых невозможно было отыскать никаких признаков съестного. Голод виднелся на полках булочной, в каждом куске маленьких хлебов самого плохого качества, и в колбасной лавке, где продавались сосиски из мяса дохлых собак. Голод потрясал своими иссохшими костями в железных жаровнях, где пеклись каштаны; он испарялся из каждой убогой миски, в которую накладывалась крошечная порция овощей, едва поджаренных в нескольких каплях оливкового масла.

Окружающая обстановка ничем не противоречила этому впечатлению всеобщего голода. Улица была узкая, извилистая, грязная, вонючая; разветвлялась она на несколько точно таких же улиц, и все население ходило в лохмотьях и ночных колпаках, и всюду стоял запах лохмотьев и ночных колпаков, и на всем лежала печать изнурения и страдания. Люди имели вид загнанный и зверский, но в них все-таки проглядывало смутное сознание того, что когда-нибудь можно и огрызнуться. Как ни были они измучены и принижены, среди них не было недостатка в таких, глаза которых горели внутренним огнем; их плотно сжатые побелевшие губы изобличали силу того, о чем они умалчивали; их брови хмурились и лбы морщились наподобие висельных веревок, насчет которых они еще были в недоумении: быть ли им самим повешенными или приниматься вешать других.

На вывесках – а их было столько же, сколько и лавок, – нагромождены были все те же признаки нищеты. У мясника изображались только самые тощие части говядины или свинины; у пекаря – одни сухие ломти хлеба. У винных погребков красовались грубые изображения посетителей, сидевших над скудными порциями жидкого вина или пива и с грозными лицами сообщавших друг другу какие-то секреты. Ничто не представлялось в исправном или цветущем состоянии, исключая рабочих инструментов и оружия, но зато у продавца металлических изделий ножи и топоры так и блестели, молотки были тяжеловесные, а огнестрельные снаряды убийственные.

Шероховатые камни мостовой лежали неровно, образуя множество резервуаров для воды и грязи; тротуаров совсем не было. Зато сточная канава тянулась по самой середине улицы и только тогда действительно служила для стока воды, когда выпадал проливной дождь; и тогда нередко случалось, что нечистоты, переполняя канаву, стекали прямо в дома. Поперек улицы, на значительном друг от друга расстоянии, висели на протянутых веревках с блоками неуклюжие фонари. По вечерам фонарщик спускал их, заправлял, зажигал, поднимал сызнова, и над головами прохожих печально и тускло мигали эти пучки тонких светилен, качавшихся словно ладьи на море. Да и у всех вообще почва под ногами колебалась наподобие волн морских, и над самим кораблем, и над командой собиралась буря.

Приближалась та пора, когда изголодавшиеся, изможденные пугала этих мест, вдоволь насмотревшись на неискусную работу фонарщика, вздумали воспользоваться его приспособлениями и с помощью тех же блоков и веревок вздергивать не фонари, а людей, чтобы те осветили их тьму. Но то время еще не пришло, и ветер понапрасну развеивал и потрясал во всей Франции тряпки и лохмотья, навешанные на эти пугала: веселые птицы, рядившиеся в яркие перья и распевавшие свои звонкие песни, не пугались, не замечали их.

Винная лавка занимала угловое помещение и казалась лучше и зажиточнее большинства остальных. Хозяин винной лавки стоял у дверей на улице; на нем были желтый жилет, зеленые панталоны, и он в качестве простого зрителя наблюдал происшествие с разбитой бочкой и поглощением пролитого вина.

– Это меня не касается, – заметил он, пожав плечами, – виноваты извозчики, привезшие бочку с рынка. Пускай привезут мне другую.

Тут он случайно заметил долговязого шутника, выводившего на противоположной стене свою зловещую шутку, и закричал ему через улицу:

– Слушай-ка, Гаспар, что ты там написал?

Долговязый парень с величайшим самодовольством пояснял ему свою шутку, по обычаю шутников этого рода, но не достиг своей цели и потерпел полное поражение, что также нередко с ними случается.

– Что ты? С ума, что ли, спятил? – сказал хозяин винного погреба и, перейдя через улицу, захватил полную горсть грязи и замазал ею начертанные буквы. – Разве можно писать на стенах проезжей улицы? А главное, скажи-ка мне: разве нет другого места, где гораздо удобнее записывать такие слова?

Говоря это, он, может быть, случайно, а может быть, и нет, положил ему на сердце ту руку, что почище. Парень постучал и собственным кулаком по тому же месту, подпрыгнул вверх и встал в позу фантастического плясуна, стряхнув с ноги один из своих грязных башмаков и подхватив его в протянутую руку. И было в ту пору у него чрезвычайно свирепое, чисто волчье выражение лица.

– Перестань, перестань, – молвил лавочник, – надевай башмак на ногу, а вино зови вином.

Преподав такой совет, он отер выпачканную руку об одежду шутника, несколько не церемонясь, так как из-за него же и набрал грязи в ладонь, затем он снова перешел через улицу и вошел в свою лавку.

Хозяин винного погреба был человек с бычачьей шеей и воинственной осанкой, от роду лет тридцати и, вероятно, очень горячего темперамента, судя по тому, что в такую стужу пиджак у него не был надет, а наброшен внакидку только на одном плече. Рукава его рубашки были засучены, и смуглые руки оголены по самые локти; на голове тоже ничего не было, кроме собственных, коротко подстриженных курчавых черных волос. Он был смуглый брюнет с красивыми глазами, достаточно широко расставленными.

Общее выражение его лица было, пожалуй, добродушное, но непреклонное: было очевидно, что он человек решительный и знает, чего хочет, и что плохо будет тому, кто с ним встретится лицом к лицу на узкой тропинке с бездонными пропастями по сторонам: не уступит дороги.

Жена его, мадам Дефарж, сидела в лавке за конторкой, когда он вошел. Мадам Дефарж была женщина одного с ним возраста, плотного телосложения, с зоркими глазами, которые редко на что-либо смотрели прямо, с крупными руками, множеством перстней на пальцах, с резкими чертами, холодным выражением лица и необыкновенным спокойствием манер. Ее особа производила такое впечатление, что она только редко могла ошибиться в тех расчетах, какие приходилось ей делать. Мадам Дефарж была чувствительна к холоду и потому куталась в меховую кофточку, а голова ее была повязана пестрым платком так, однако же, что ее уши с украшавшими их длинными серьгами были на виду. Ее вязанье лежало перед ней на конторке,



и она в эту минуту ковыряла у себя в зубах спицей, подпирая правый локоть левой ладонью. Когда муж вошел, мадам Дефарж ничего не сказала, а только один раз тихо кашлянула и при этом слегка подняла свои резко очерченные черные брови. Этого было достаточно, чтобы муж догадался, что нелишне будет хорошенько осмотреться вокруг и взглянуть на новых посетителей, которые могли войти в лавку, пока он отлучался на улицу.

Хозяин погребка повел глазами вокруг стен и действительно заметил пожилого господина и молодую девушку, сидевших в углу. Были и другие посетители: двое играли в карты, двое играли в домино и еще трое стояли у прилавка, стараясь как можно дольше прихлебывать небольшие порции вина. Проходя за прилавком, Дефарж заметил, что пожилой господин глазами указал на него своей соседке, как бы желая сказать: «Вот он!»

«Желал бы я знать, что вам нужно здесь? – подумал про себя мсье Дефарж. – Я вас сроду не видывал».

Однако он притворился, что не видит этих незнакомых людей, и вступил в разговор с тремя посетителями, попивавшими вино у прилавка.

– Ну как идет дело, Жак? – молвил один из троих, обращаясь к Дефаржу. – Все ли пролитое вино выпили?

– Все до капли, Жак, – отвечал господин Дефарж.

После такого обмена одним и тем же христианским именем мадам Дефарж, не переставая ковырять спицей в зубах, опять тихо кашлянула и подняла брови еще крошечку повыше.

– Да, – сказал другой из троих посетителей, также обращаясь к Дефаржу, – многим из этих жалких скотов не часто приходится отвеживать вина, они только и знают вкус черного хлеба да голодной смерти. Не так ли, Жак?

– Именно так, Жак, – отвечал господин Дефарж.

Вторично произошел обмен христианским именем.

Мадам Дефарж, все так же орудуя спицей, еще раз кашлянула и еще немножко подняла брови.

Третий посетитель поставил на прилавок свой пустой стакан, почмокал губами и сказал, в свою очередь:

– Ах, что и говорить! Горький вкус во рту у этих бедняков, и тяжело им живется, Жак! Правду ли я говорю, Жак?

– Чистую правду, Жак, – отвечал мсье Дефарж.

Как только они в третий раз произнесли то же имя, мадам Дефарж перестала ковырять в зубах, но, все еще подняв брови, слегка завопилась на своем месте.

– Ага... правда! – пробормотал ее супруг себе под нос. – Господа, тут жена моя!

Все трое посетителей, пившие вино, сняли шляпы и раскланялись с мадам Дефарж. Она отвечала на их приветствие, слегка кивнув им и быстро взглянув на каждого поочередно. Потом она спокойно обвела глазами всю лавку, взяла вязанье и тотчас углубилась в свое рукоделие с самым безмятежным видом.

– Господа, – сказал Дефарж, все время не спускавший с жены своих блестящих глаз, – позвольте пожелать вам доброго утра. Та меблированная комната, устроенная на холостую ногу, про которую вы спрашивали, пока я отлучался из дому, еще не занята, и вы можете ее посмотреть, коли угодно. Она в пятом этаже. Вход на лестницу со двора, вот тут, налево, возле моего окна, – продолжал он, указывая рукою. – Да впрочем, помнится, один из вас уже побывал там, так он и покажет дорогу. Доброго утра, господа!

Они заплатили за вино и ушли. Мсье Дефарж смотрел на жену, углубленную в вязание; пожилой джентльмен выступил из своего угла и, подойдя к хозяину, попросил позволения сказать ему несколько слов.

– К вашим услугам, сударь, – сказал Дефарж, спокойно отходя к двери.

Беседа была очень короткая, но решительная. Почти с первого слова мсье Дефарж встрепенулся и выказал глубочайшее внимание. Не прошло и минуты, как он кивнул и вышел. Пожилой джентльмен сделал знак молодой девушке, и они также вышли. Мадам Дефарж продолжала приторно шевелить спицами, но бровью не повела и ничего не видала.

Мистер Джервис Лорри и мисс Манетт, выйдя вслед за хозяином, отправились через двор в ту самую дверь, куда он только что указал вход троим посетителям.

Дворик был тесный, вонючий, обставленный высокими домами с очень густым населением. Войдя в мрачные сени, выстланные черепицей и ведущие на мрачную лестницу из того же материала, мсье Дефарж преклонил колено перед дочерью своего прежнего барина и поцеловал ее руку. Поступок был любезный, но вид у него был при этом далеко не любезный. В несколько секунд он весь точно преобразился: куда девалось открытое и веселое выражение его лица? Теперь это был скрытный, обозленный, опасный человек.

– Очень высоко придется вам влезать, да и лестница крутая. Начинайте полегоньку, – сказал мсье Дефарж суровым голосом мистеру Лорри, пройдя первые ступени.

– Он там один? – шепнул ему мистер Лорри.

– Один. Оборони бог, кому же с ним быть-то? – отвечал Дефарж так же тихо.

– Значит, он всегда один?

– Всегда.

– По собственному желанию?

– По необходимости. Каким я застал его в тот день, как меня разыскали и спросили, согласен ли я взять его к себе и ради собственной безопасности держать под секретом, – каким застал его тогда, такой же он и теперь.

– Сильно изменился?

– Изменился!

Хозяин винного погребка приостановился, стукнул кулаком в стену и пробормотал ужаснейшее проклятие. Трудно было представить себе более выразительный ответ. Мистер Лорри чувствовал, что на душе у него становилось все тяжелее по мере того, как они поднимались все выше. В старых кварталах Парижа, наиболее населенных, подобная лестница, с обычной для нее обстановкой, и теперь еще представляет собой довольно неприятное явление; но в те времена это было нечто ужасное, особенно для непривычных или брезгливых людей. Из каждого жилья внутри этого громадного и грязного гнезда, то есть из каждой двери, выходившей на одну общую лестницу высокого дома, вываливали на площадку всякий мусор и нечистоты помимо тех нечистот, которые выбрасывались из окошек прямо во двор или на улицу. Постоянное и безнадежное накопление таких мусорных куч и гниение их на месте, во всяком случае, заражает воздух; но помимо этого он был отягчен теми неуловимыми миазмами, которые исходят от бедности, и обе причины, действуя сообща, образовали нечто совершенно невыносимое. В такой-то атмосфере приходилось влезать по крутой полутемной лестнице на самый верх. Уступая собственным расстроенным чувствам и очевидному волнению своей маленькой спутницы, мистер Джервис Лорри дважды останавливался передохнуть. Эти передышки делались у печальных отверстий, заделанных решетками, через которые, казалось, уносились последние следы чистого воздуха, а снаружи вползали испарения всевозможной заразы. Среди заржавленных перекладин решетки скорее можно было уловить запахи, нежели виды тесно скученных окрестных зданий; и ни вблизи ни вдали не видно было ни единого намека на возможность чистого воздуха и здоровой жизни, за исключением двух высоких башен собора Парижской Богоматери.

Взобравшись на верхнюю площадку, они еще раз остановились отдохнуть. Отсюда еще более узкие и крутые ступеньки вели выше, в чердачное помещение. Хозяин винной лавки, все время шедший впереди и державшийся со стороны мистера Лорри как бы из страха, что моло-

дая девушка задаст ему затруднительный вопрос, прислонился к стене и, нащупав карманы сюртука, висевшего у него на плече, вытащил оттуда ключ.

– Стало быть, вы запираете дверь, мой друг? – сказал удивленный мистер Лорри.

– Как же! Всегда, – смущенно ответил мсье Дефарж.

– Считаете нужным все-таки держать несчастного джентльмена взаперти?

– Считаю нужным запирасть дверь на ключ.

Эти слова Дефарж прошептал ему на ухо и при этом страшно нахмурился.

– Почему так?

– А потому, что так долго он жил взаперти, что испугался бы, стал бы биться о стены, пришел бы в бешенство, пожалуй умер бы, наделал бед, если бы оставить его дверь раскрытой.

– Может ли быть! – воскликнул мистер Лорри.

– И даже очень может, – сказал Дефарж с горечью. – Да, нечего сказать, в хорошее времячко мы живем, коли возможны такие вещи, да мало ли и других, им подобных! И все это не только возможно, оно и случается, всякий божий день случается, извольте видеть, среди бела дня... Черт возьми! Ну, идем дальше.

Эти переговоры происходили так тихо, что ни одно слово не достигло ушей молодой девушки. Тем не менее она так дрожала от внутреннего волнения и лицо ее выражало такую глубокую тревогу и, главное, такой страх и ужас, что мистер Лорри счел своей обязанностью ободрить ее и успокоить:

– Мужайтесь, дорогая мисс! Вооружитесь твердостью. Дело житейское! Еще минута – и конец. Вот сейчас войдем, и самая тяжкая часть дела будет сделана. А потом уж пойдет другое: подумайте, сколько добра вы ему сделаете, какую отраду, какое счастье принесете с собой. Позвольте и нашему любезному спутнику поддержать вас с другой стороны. Вот так, друг Дефарж. Так-то лучше будет. Ну вот и отлично. Дело житейское!

Они поднимались медленно и осторожно. Ступеней было не много, и они скоро очутились наверху. Но тут площадка внезапно заворачивала в сторону, и они сразу увидели перед собой троих людей, которые, сомкнувшись головами, стояли, наклонившись перед дверью, и пристально смотрели внутрь комнаты, приставив глаза к щелкам и дырам в стене. Услышав за собой шорох, все трое обернулись, выпрямились и оказались теми самыми посетителями, которые пили вино в лавке и назывались одним и тем же именем.

– Я о них и позабыл, так вы меня озадачили вашим посещением, – объяснил Дефарж мистеру Лорри. – Уходите отсюда, ребяташки, у нас здесь дело есть.

Те проскользнули мимо них и, ни слова не говоря, стали спускаться с лестницы.

Так как другой двери на этой площадке не было, то хозяин погребка направился прямо к ней, и, как только они остались одни, мистер Лорри довольно сердитым шепотом спросил у него:

– Что же, это вы нарочно показываете публике господина Манетта?

– Да, я его показываю вот точно так, как вы сейчас видели, но только некоторым избранным лицам.

– И по-вашему, это хорошо?

– По-моему, хорошо.

– Кто же эти избранные? Что руководит вашим выбором?

– Я выбираю из среды настоящих людей, одного со мной имени – меня зовут Жак – и таких, которым полезно это видеть. Впрочем, что об этом говорить. Вы англичанин; это совсем иное дело. Посторонитесь, пожалуйста, и постойте здесь минутку.

Пригласив их рукой отойти немного в сторону, он нагнулся и сквозь щель в стене посмотрел внутрь чердака. Потом, выпрямившись, раза два или три стукнул в дверь, очевидно, затем только, чтобы произвести некоторый шум. С той же целью он несколько раз шаркнул ключом

поперек двери, неуклюже потыкал им в замочную скважину, наконец, вставил ключ и повернул его как можно громче.

Дверь медленно растворилась внутрь, он заглянул туда и сказал что-то. В ответ ему послышался слабый голос. С обеих сторон произнесено было чуть ли не по одному слову.

Дефарж оглянулся через плечо и поманил их за собой.

Мистер Лорри крепко обвил рукой вокруг пояса молодую девушку и поддерживал ее, чувствуя, что иначе она сейчас упадет.

– Это визит деловой, деловой... – бормотал мистер Лорри, между тем как по щеке его скатилась капля влаги совсем не делового характера.

– Пойдемте, пойдемте.

– Я боюсь, – прошептала она, вздрагивая.

– Чего вы боитесь? Кого?

– Его боюсь... отца!

Видя ее в таком положении, а с другой стороны, заметив, как настойчиво манил их за собой мсье Дефарж, мистер Лорри с отчаянной решимостью перекинул себе на шею ее руку, дрожавшую на его плече, приподнял ее за талию и протащил через порог. Он поставил ее к стене рядом с дверью и продолжал крепко держать, между тем как она сама уцепилась за него.

Дефарж вынул ключ, затворил дверь и запер ее изнутри, потом опять вынул ключ и не выпускал его из руки. Все это он проделал методически, нарочно производя как можно больше шума и стукотни. Наконец он мерным шагом прошел через комнату в тот конец, где находилось окно. Тут он остановился и повернулся лицом к двери.

Чердак, предназначенный для хранения дров и хозяйственных запасов, очень слабо освещался. Единственное слуховое окно было, в сущности, дверью, выходившей на крышу; над ним было устроено нечто вроде блока или журавля для подъема тяжестей с улицы. Окно было без стекол, растворялось на две половинки, как почти все окна и двери во Франции, и защищено изнутри ставнями. Ради защиты от холода одна половина была плотно затворена, а другая чуть-чуть открыта. Через эту щель так мало света проникало на чердак, что в первую минуту казалось, будто там совсем темно и ничего не видно; только долговременная привычка могла дать человеку возможность постепенно научиться что-либо делать и даже довольно искусно работать в такой темноте. Однако же на этом чердаке производилась такая работа.

Спиной к входной двери и лицом к окну, под которым остановился Дефарж, сидел на низкой скамейке совершенно седой человек; подавшись всем телом вперед и понунив голову, он был очень занят: тачал башмаки.

## Глава VI. Башмачник

– Доброго утра, – молвил мсье Дефарж, глядя сверху вниз на седую голову, низко наклонившуюся над работой.

Седая голова приподнялась на минуту, и очень слабый голос прозвучал как бы издали, отвечая на приветствие:

– Доброго утра!

– Вы, я вижу, все так же усердно работаете?

После долгого молчания голова опять приподнялась на минуту, и голос произнес: «Да, работаю», но на этот раз блуждающий взгляд на секунду обратился на собеседника, потом снова поник.

Слабость этого голоса возбуждала жалость и страх. То была не только физическая слабость: долгое заключение в тюрьме и плохая пища тоже играли здесь роль; главной и наиболее поразительной особенностью голоса была порожденная одиночеством отвычка говорить и слушать. Этот голос был похож на слабое эхо давно-давно минувшего звука. Из него до такой степени исчезли и жизненность, и звучность человеческой речи, что он производил впечатление когда-то яркого и красивого цвета, вылинявшего до едва заметного бледного пятна. Он был так сдавлен и глух, как будто выходил из-под земли, представлял воображению существо до того безнадежное, изнемогающее и одинокое, что, если бы отошальный путник, сбившийся с дороги среди далекой пустыни, лег на землю умирать, таким именно голосом должен был он вспомнить родной дом и проститься с далекими друзьями.

Несколько минут он молчал, продолжая работу, потом снова поднял свои блуждающие глаза – не из любопытства, нет, но с машинальным намерением взглянуть, тут ли его единственный посетитель или уже ушел.

– А я, – сказал Дефарж, не спускавший глаз с башмачника, – хочу вот впустить сюда побольше свету. Вам ничего, если будет посветлее?

Башмачник перестал работать; прислушиваясь с рассеянным видом, он взглянул на пол, направо от себя, потом посмотрел налево и, наконец, перевел глаза на Дефаржа.

– Вы что сказали? – молвил он.

– Я спрашиваю, можете ли вы переносить свет, коли я введу его побольше?

– *Должен* перенести, коли вы впустите. (На первом слове он сделал нечто вроде ударе-ния.)

Дефарж растворил ставень немного шире и укрепил его на время в этом положении. Широкий луч света скользнул в чердачное помещение и озарил прекратившего свое занятие башмачника с неоконченной работой на коленях. Кое-какие простые инструменты и обрезки кожи лежали у его ног и рядом с ним на скамейке. У него была седая борода, грубо подстриженная, но не длинная, исхудалое лицо и необыкновенно блестящие глаза. Из-под черных бровей и спутанных седых волос эти глаза казались огромными благодаря крайней худобе его лица; они были велики от природы, но теперь производили впечатление неестественной величины. Пожелтевшая изодранная рубашка была расстегнута у горла, и в прорехе виднелось изможденное, тощее тело. И сам он, и его старая холщовая куртка, и слишком просторные, спустившиеся вниз чулки, и все эти жалкие лохмотья были так долго лишены непосредственного действия света и воздуха, что приняли однообразно тусклый желтоватый оттенок пергамента, и трудно было сказать, где тело и где одежда.

Он заслонил глаза рукой от хлынувшего в комнату света, и казалось, что даже кости этой руки прозрачны. Он все сидел в одном положении, пристально устремив в пространство безучастный взор и приостановив работу. Перед тем как взглянуть на стоявшего перед ним чело-

века, он озирался по сторонам, как будто потерял привычку согласовать занимаемое человеком место с его голосом. Оттого он говорил так медленно, а иногда и совсем не говорил.

– Вы хотите сегодня же окончить эту пару башмаков? – спросил у него Дефарж, сделав мистеру Лорри знак подойти ближе.

– Что вы сказали?

– Вы думаете сегодня окончить эту пару башмаков?

– Не могу сказать, чтобы думал. Вероятно, да. Я не знаю.

Однако вопрос напомнил ему о башмаках, и он принялся за работу.

Мистер Лорри молча подошел, оставив молодую девушку у двери. Он уже стоял минуты две подле Дефаржа, когда башмачник оглянулся на них. Он не удивился, увидев другого гостя, но дрожащими пальцами одной руки провел по своим губам (и губы, и ногти были у него одного и того же бледно-свинцового оттенка), потом его рука опять упала на колени, и он углубился в свою работу. Все это продолжалось не более минуты.

– К вам гость пришел, видите? – сказал господин Дефарж.

– Что вы сказали?

– Гость пришел.

Башмачник опять взглянул на него, но не оторвался от работы.

– Послушайте-ка, – сказал Дефарж, – вот этот господин знает толк в хорошо сшитой обуви. Покажите ему башмак вашей работы. Возьмите у него башмак, мсье.

Мистер Лорри взял в руки башмак.

– Вы скажите этому господину, какого сорта эта обувь и кто ее сделал.

Молчание длилось еще долее прежнего, и башмачник сказал наконец:

– Я позабыл, о чем вы спрашивали. Что вы сказали?

– Я сказал, не можете ли объяснить этому господину, что это за башмак?

– Это дамский башмак... Для молодой девушки... на гулянье. Нынче такая мода... Я моды не видал... Но у меня была модель.

Он посмотрел на башмак с оттенком мимолетной гордости.

– А как же зовут мастера? – сказал Дефарж.

Теперь, когда у него в руках не было работы, башмачник стал зажимать правые пальцы в левую ладонь, затем левые пальцы в правую, потом провел рукой по бороде, и так несколько раз подряд, не переставая передвигать руками. Побороть его рассеянность, пробудить внимание, отвлекавшееся в сторону каждый раз, как он произносил что-нибудь, было почти так же трудно и хлопотливо, как приводить в чувство человека, находящегося в обмороке, или добиться определенного ответа от умирающего.

– Вы про мое имя спрашивали?

– Конечно. Скажите, как вас зовут?

– Сто пять, Северная башня.

– И больше ничего?

– Сто пять, Северная башня.

Из груди его вырвался не то вздох, не то стон, и он снова вернулся к своей работе, но через некоторое время молчание было опять прервано.

– Вы не всегда были башмачником по ремеслу? – спросил мистер Лорри, пристально на него глядя.

Блуждающие глаза обратились на Дефаржа как бы с желанием предоставить ему ответить на вопрос, но Дефарж не пришел ему на помощь, и глаза, устремившись сначала на пол, направо и налево, в конце концов взглянули на говорившего.

– Был ли я башмачником по ремеслу? Нет, по ремеслу я не был башмачником. Я... я здесь научился. Самоучкой. Просил позволения...



Он замолк и в течение нескольких минут все так же беспечно шевелил руками. Потом глаза его медленно обратились на собеседника; увидев его, он вздрогнул, точно внезапно пробуждаясь от сна, и, уловив нить своей фразы на том слове, где остановился, договорил ее:

– Просил позволения учиться... долго ждал ответа... позволили с большим трудом... и с тех пор вот... шью башмаки.

Он протянул руку за башмаком, который у него взяли, а мистер Лорри, пристально глядя ему в лицо, сказал:

– Господин Манетт, вы меня совсем не помните?

Башмак упал на пол, и старик уставился на мистера Лорри.

– Господин Манетт, – сказал мистер Лорри, положив руку на руку Дефаржа, – вы и этого человека не помните? Посмотрите на него. И на меня посмотрите. Не возникает ли в вашем уме воспоминание о старом банкире, о старых делах, о старом слуге, о старых годах, господин Манетт?

Узник, пробывший в заключении так долго, попеременно смотрел то на мистера Лорри, то на Дефаржа, и, пока он смотрел, на его челе начали проступать давно исчезнувшие признаки умственной деятельности, когда-то чрезвычайно сильной и живучей, точно лучи света, проникавшие сквозь густой туман. Так же постепенно они бледнели, проходили, исчезли... но они пробуждались, они были тут. И это выражение всякий раз отражалось на лице молодой девушки, которая потихоньку подвинулась вдоль стены до такого места, откуда ей было видно его. Она стояла и смотрела на него, сначала подняв руки с выражением испуганной жалости и даже иногда заслонялась ими от этого непосильного зрелища, но потом протянула эти руки вперед, вся дрожа от стремления заключить в свои горячие объятия эту мертвенную голову, отогреть ее на своей юной теплой груди и своей любовью и ласками воротить к жизни и надеждам. И так отражалось на ее лице выражение его лица (только в более сильной степени), что казалось, будто это выражение, подобно скользящему лучу, перешло с него на нее.

На него опять нашло затмение. Все рассеянное становилось его взгляд, обращенный на обоих посетителей; потом он опять по-прежнему оглянулся на пол, впал в унылое раздумье, испустил глубокий вздох, поднял башмак и возобновил работу.

– Узнали вы меня, мсье? – шепотом спросил Дефарж.

– Да, на одну минуту. Сначала я думал, что на это нечего рассчитывать, но потом, несомненно, признал на несколько секунд то самое лицо, которое когда-то так хорошо знал. Тсс... Отойдем немного назад. Тсс...

Она прокралась от стены чердака и была теперь совсем близко от скамейки, где он сидел. Было что-то ужасное в его полном неведении ее близости: она могла бы достать его протянутой рукой, а он сидел согнувшись и не подозревал ее присутствия.

Никто не проронил ни слова, тишина была полнейшая. Она стояла возле него, точно бесплотный дух, а он низко склонился над своей работой.

Случилось наконец, что ему понадобилось отложить инструмент, бывший в его руке, и взять ножик, лежавший на скамейке, не с той стороны, где она стояла. Он взял его, снова наклонился, но в эту секунду увидел на полу подол ее платья, поднял глаза и увидел ее лицо. Оба зрителя разом ринулись вперед, но она остановила их движением руки: ей было не страшно, что он ударит ее своим ножом, а они именно этого и боялись.

Он уставился на нее испуганным взглядом, и через некоторое время губы его пытались произнести какое-то слово, но звука не было слышно. Потом послышалось его учащенное дыхание и наконец слова:

– Что это?

Слезы градом лились по ее лицу, она приложила обе руки к своим губам и посылала ему воздушные поцелуи, потом сложила их на груди, как бы желая прижать к себе его седую голову.

– Вы не дочь ли тюремщика?

Она вздохнула:

– Нет!

– Кто же вы?

Не доверяя твердости своего голоса, она села на скамейку рядом с ним. Он съежился и отпрянул, но она положила руку на его руку. Станный трепет пробежал по всему его телу. Он тихо положил ножик и смотрел на нее.

Длинные локоны ее золотистых волос, торопливо откинутые назад, рассыпались по ее спине. Медленно подвигая руку вперед, он взял один из висевших локонов и посмотрел на него. Смотрел, задумался, потерял нить своих мыслей, глубоко вздохнул и снова принялся за башмачную работу.

Но ненадолго. Она выпустила его руку и положила свою ему на плечо. Раза два или три он покосился на нее неуверенно, как бы сомневаясь, точно ли тут лежит эта рука; отложил работу и снял со своей шеи почерневший шнурок с привешенным к нему свернутым клочком тряпки. Положив этот сверточек себе на колени, он бережно развернул его, и там оказалось небольшое количество волос; их было очень мало, всего, может быть, один или два длинных волоса золотистого цвета, которые он когда-то, вероятно, намотал вокруг своего пальца.

Он опять взял кончик ее локона и стал вглядываться в него, бормоча:

– Те самые, те самые... Как это может быть! Когда это было? Как это... как это!

По мере того как лоб его морщился от напряженного усилия сосредоточить свои мысли, он как будто понял, что и на ее лице выражается то же самое. Тогда он повернул ее к свету и стал всматриваться в ее черты.

– Она положила голову на мое плечо в тот вечер, когда меня вызвали из дому... она боялась моего ухода, а я не боялся... и, когда меня привели в Северную башню, вот что они нашли у меня на рукаве... «Оставьте мне эти волосы! Ведь они мне не помогут убежать телесно, только душа моя будет посредством их улетать на волю!...» Так я сказал им в то время... я запомнил каждое слово.

Эту речь он несколько раз произносил губами беззвучно, прежде нежели ему удалось ее произнести. Но когда он нашел для нее подходящие слова, он выговорил их вполне осмысленно, хотя медленно:

– Как это случилось?... Разве *это были вы*?

Оба зрителя опять разом рванулись вперед – так ужасающе быстро он повернулся к ней. Но она оставалась в его руках тиха и спокойна и только сказала им тихим голосом:

– Умоляю вас, добрые джентльмены, не подходите к нам, помолчите и не трогайтесь с места!

– Ах! – вскрикнул он. – Чей это голос?

Он выпустил ее из рук, схватился за голову и в припадке отчаяния рванул себя за волосы. Но этот порыв миновал так же скоро, как проходили все другие его впечатления, за исключением башмачного ремесла. Он сызнова свернул свою тряпочку с волосами и силился спрятать этот пакетик себе за пазуху, но продолжал смотреть на дочь, угрюмо покачивая головой.

– Нет, нет, нет. Вы слишком молоды, слишком цветущи. Не может этого быть. Посмотрите на узника, на что он похож! Разве это те руки, которые она знала? Разве это то лицо? Такой ли голос привыкла она слышать? Нет, нет. Она была... да и *он* был давно, давно, до этих долгих годов в Северной башне... целые века назад... Как вас зовут, мой милый ангел?

Ободренная его смягченным тоном и манерой, его дочь стала перед ним на колени и положила умоляющие руки на его грудь:

– О сэр, я в другой раз, после скажу вам свое имя, и кто была моя мать, и кто отец мой, и почему я никогда не слыхала о их тяжелой-тяжкой судьбе. Но теперь я не могу вам этого сказать, да и нельзя это здесь. Одно только я теперь же скажу вам: вот сейчас, тут, дотроньтесь до меня сами и благословите меня... Поцелуйте меня, поцелуйте! О мой милый, дорогой мой!

Его холодная седая голова приникла к ее сияющим кудрям, которые обдали его теплом и светом, как будто его внезапно озарило лучом свободы.

– Если в моем голосе есть что-нибудь такое – я этого не знаю наверное, но надеюсь, что так, – если в моем голосе вам чудится сходство с тем голосом, что был когда-то сладкой музыкой для вашего слуха, то плачьте о нем, плачьте! Если, трогая мои волосы, вы вспоминаете любимую голову, лежавшую на вашей груди, когда вы были молоды и свободны, плачьте об этом, плачьте! И если вы услышите, что мы поедем домой и там я всегда буду при вас, буду служить вам всей моей любовью и покорностью, а вы тогда вспомните о другом домашнем очаге, давно опустевшем, о котором столько лет тосковало ваше бедное сердце, – плачьте о нем, плачьте!

Она обвила его шею своей рукой и, крепче прижав к своей груди, тихонько покачивала, как ребенка.

– Милый мой, бесценный, кончена ваша мука, я пришла взять вас отсюда; мы поедем в Англию, там будет нам хорошо и спокойно; а если это напомнит вам, что ваша полезная жизнь пропала даром, что наша родная Франция обошлась с вами жестоко, плачьте об этом, плачьте! А когда я вам скажу свое имя и то, что отец мой жив, а мать умерла, и вы узнаете, что я должна преклонить колени перед моим отцом и умолять его простить меня за то, что я для него не работала целые дни, не оплакивала его целые ночи, потому что материнская любовь скрыла от меня, как он мучился... поплачьте о нем, поплачьте! Плачьте о нем и обо мне тоже... Добрые джентльмены, слава богу, я чувствую его священные слезы на моем лице и его рыдания отдаются в моем сердце. О, посмотрите! Поблагодарите Бога за нас, слава Богу!

Он склонился к ней на руки, приникнув лицом к ее груди. Зрелище было потрясающее, но до того ужасное по той массе страдания и вопиющей несправедливости, которые ему предшествовали, что оба посторонних зрителя этой сцены закрыли руками свои лица.

На чердаке водворилась полная тишина. Рыдания, потрясавшие его грудь и слабое тело, наконец унялись, и он стих и смолк, как смолкает всякая буря – явная эмблема того покоя и тишины, которые наступают для человека после той бури, что зовется жизнью; тогда двое свидетелей подошли с намерением поднять с полу отца и дочь. Он постепенно сполз со скамейки на пол и лежал в изнеможении, истощенный пережитыми волнениями. Она примостилась возле него, подложив ему под голову руку, а ее волосы свесились над ним как занавес, защищая его от света.

– Нет, не тревожьте его, – сказала она, протянув руку мистеру Лорри, склонившемуся над ними после многократного сморкания. – Нельзя ли так устроить, чтобы нам сегодня же уехать из Парижа и прямо из этих дверей увезти его прочь?..

– Рассудим прежде, может ли он перенести путешествие? – сказал мистер Лорри.

– Я думаю, что ему все-таки легче будет в дороге, чем в этом городе, где он так ужасно пострадал.

– Это правда, – сказал Дефарж, ставший на колени, чтобы лучше видеть и слышать, – и я даже так скажу, что для господина Манетта во всех отношениях лучше поскорее уехать из пределов Франции. Хотите, я схожу нанять карету и почтовых лошадей?

– Начинается дело, – молвил мистер Лорри, тотчас переходя в свой обычный, аккуратный тон, – но, раз дело дошло до практической стороны, лучше мне самому сходить за каретой.

– В таком случае, – сказала мисс Манетт просительным тоном, – будьте так добры, оставьте нас здесь вдвоем. Вы сами видите, как он стал спокоен, стало быть, вам нечего бояться оставлять меня с ним. И чего же бояться? Вы только, уходя, закройте дверь снаружи, чтобы наверное никто не вошел к нам, и тогда по возвращении я не сомневаюсь, что вы его застанете таким же тихим, как и теперь. Во всяком случае, я позабочусь о нем, пока вы не вернетесь, а потом мы прямо отсюда двинемся в путь.

Такой оборот не нравился ни мистеру Лорри, ни Дефаржу: оба были того мнения, что лучше одному из них пойти, а другому остаться на всякий случай. Но так как нужны были не одни лошади и карета, а предстояло выправить и кое-какие бумаги на дорогу и так как времени оставалось немного – день приходил к концу, – то кончилось тем, что, наскоро поделив между собой необходимые хлопоты, оба поспешили уйти.

Стало смеркаться. Дочь прилегла головой к жесткому полу возле отца и смотрела на него. Тьма сгущалась, стало совсем темно, а они все так же тихо лежали, пока сквозь щели в стене не блеснул свет.

Мистер Лорри и Дефарж выполнили все приготовления к путешествию и принесли с собой помимо дорожных плащей и одеял хлеба и мяса, вина и горячего кофе. Мсье Дефарж поставил всю эту провизию и фонарь на скамью башмачника (другой мебели не было на чердаке, кроме соломенной постели), потом с помощью мистера Лорри разбудил узника и помог ему встать.

Ни один человеческий ум не мог бы прочесть на его испуганном и удивленном лице того, что совершалось в тайнике его души. Понял ли он то, что случилось, помнил ли то, что ему говорили, знал ли, что он свободен, – этих загадок не разрешил бы никакой мудрец. Пробовали разговаривать с ним, но он был так растерян, так медленно отвечал, что они побоялись еще больше ошеломить его и решили, что пока лучше оставить его в покое. По временам он как-то дико и растерянно хватался за голову, чего прежде не имел привычки делать, однако заметно было, что ему приятен звук голоса его дочери, и каждый раз, как она говорила, он оборачивался к ней.

С безучастной покорностью человека, давно привыкшего все делать по принуждению, он ел и пил все, что ему давали, и беспрекословно надел дорожный плащ и прочее платье. Когда дочь взяла его под руку, он с большой готовностью поддался этому движению и, взяв ее руку, удержал в своих руках.

Начали спускаться с лестницы. Дефарж пошел впереди с фонарем, мистер Лорри замыкал шествие. Пройдя несколько ступеней длинной главной лестницы, узник вдруг остановился и, вытаращив глаза, стал озиаться на стены и вверх, на потолок.

– Вы помните это место, папа? Помните, как входили сюда?

– Что вы сказали?

Но прежде чем она успела повторить вопрос, он как будто расслышал его и прошептал в ответ:

– Помню ли? Нет, не помню. Это было так давно.

Для всех было очевидно, что он не имел никакого представления о том, как из тюрьмы попал в этот дом. Они слышали, как он бормотал: «Сто пятый, Северная башня» – и, озираясь, по-видимому, дивился, где же те толстые крепостные стены, в которых он пребывал столько лет. По выходе на двор он машинально замедлил шаг как бы в ожидании спуска подъемного моста, и, когда увидел, что никакого моста нет, а вместо того на обыкновенной улице стоит перед ним карета, он выпустил руку дочери и опять схватился за голову.

У ворот никого не было. Ни в одном из многочисленных окошек не видать было ни души; даже ни одного случайного прохожего не было на улице. Везде было необычайно тихо и пусто. Только одна живая душа и была свидетельницей этого зрелища, именно мадам Дефарж; но она стояла, прислонившись к косяку, продолжала свое вязание и ничего не видала.

Узник сел в карету, и дочь последовала за ним; но едва мистер Лорри занес ногу на подножку, как он жалобным голосом стал просить, чтобы захватили его инструменты и неоконченные башмаки. Мадам Дефарж крикнула мужу, что она сейчас сама сходит наверх и все принесет; не переставая вязать, она быстро пошла через двор и скрылась в темноте. В самом скором времени она воротилась, передала все вещи в карету, немедленно встала опять, прислонившись к косяку, и принялась вязать как ни в чем не бывало. Она ничего не видела.

Дефарж влез на козлы и скомандовал: «К заставе!» Ямщик хлопнул бичом, и карета покатилась, грохоча по мостовой, при слабом свете висячих фонарей, мерцавших над улицей.

Висячие фонари качались в воздухе, разгораясь ярче в лучших частях города и снова мерцая в худших; карета неслась под зыбкими фонарями мимо освещенных лавок, мимо веселящейся толпы, мимо сиявших огнями кофеен, ресторанов и театров, и так до ворот одной из столичных застав. Из караульни вышли солдаты с фонарями:

– Ваши бумаги, господа путешественники!

– Вот извольте смотреть, господин офицер, – сказал мсье Дефарж, соскочив с козел и с серьезным видом отводя в сторону караульного начальника. – Это бумаги того господина с седыми волосами, что сидит внутри кареты. Они мне переданы, равно как и он сам, в...

Тут он понизил голос до шепота; среди фонарей произошло движение, один из них просунулся внутрь кареты вместе с чьей-то рукой в мундирном рукаве, глаза из-под военной фуражки взглянули совсем необычным взглядом на седоволосого господина, и официальный голос произнес: «Хорошо, все в порядке. Трогай!»

– Прощайте! – крикнул Дефарж.

Еще несколько фонарей, все слабее и слабее мерцавших над дорогой, и они выехали из столицы под покров великой звездной ночи.

Черные тени расстилались кругом под сводом этих неподвижных и вечных светил. Некоторые из этих светочей так далеки от нас, что ученые говорят, будто их лучи еще не достигли до нашей планеты и не ведают о существовании в необъятном пространстве этого маленького мирка, на котором кто-то страдает и что-то делается. И в течение всей этой холодной и тревожной ночи мистер Лорри, сидевший напротив человека, заживо погребенного и теперь отрытого, раздумывал и соображал, какие из душевных способностей утрачены им навеки и какие еще могут со временем восстановиться; а ночные тени между тем снова нашептывали ему прежние слова:

– Надеюсь, что вы с охотой возвращаетесь к жизни?

И слышался ему прежний ответ:

– Не могу сказать; не знаю.

## Часть вторая. Золотая нить

### Глава I. Пять лет спустя

Тельсонов банк, что у Темплских ворот, был старинным учреждением даже и в тысяча семьсот восьмидесятом году. Дом был очень тесен, очень темен, очень некрасив и очень неудобен. Был он также очень старомоден, в том отношении, что участники фирмы гордились его теснотой, гордились его темнотой, гордились его безобразием, гордились его неуютностью. Они даже хвастались тем, что все эти качества были ему присущи в высшей степени, ибо свято верили, что, будь он менее темен, тесен, безобразен и неудобен, он был бы и менее почтенным учреждением. И это было с их стороны не пассивным образом мыслей, но мощным оружием, которым они размахивали по адресу других, более удобно обставленных деловых контор. Тельсону (говорили они) ни к чему заводить себе больше простору; Тельсону не нужно больше свету и никаких украшений не требуется. Может быть, какой-нибудь «Нокс и К°» нуждаются в подобных вещах или «Братья Снукс», но Тельсон – слава богу!

Если бы какому-нибудь сыну одного из сотоварищей фирмы вздумалось завести речь о перестройке Тельсонова банка, родной отец немедленно лишил бы его наследства. В этом отношении банк держался совершенно тех же воззрений, как и Британское государство: оно частенько отрекается от своих сынов в том случае, когда они предлагают улучшения законов и обычаев страны; и хотя бы сама страна давно признавала полную несостоятельность и вредоносность этих законов и обычаев, но считается, что они-то и придают ей высшую степень почтенности.

Таким образом и случилось, что по части неудобства Тельсонов банк достиг образцовой степени совершенства... Дверь отворялась чрезвычайно туго и с особым хриплым звуком, напоминающим клочкотание в горле; когда вам удавалось победить ее дурацкое упорство и отворить ее, вы падали через две ступеньки вниз, а очнувшись, оказывались в жалкой лавчонке с двумя маленькими прилавками, за которыми сидели старые-престарые старички; в их руках ваши щеки колыхались и трепетали, как на сильном ветру, а для проверки подписи они подносили бумажки к самому тусклому окну, какое только можно себе представить: его постоянно окачивало грязью с мостовой Флит-стрит, да, кроме того, оно осеялось и собственными железными решетками и тяжеловесной стеной Темплских ворот. Если по свойству вашего дела вам требовалось повидаться с главой фирмы, вас впускали в нечто вроде карцера за конторой, и там вы могли на досуге размышлять о своих грехах, покуда не появлялся «глава»; он стоял перед вами, засунув руки в карманы, а вы едва были в состоянии рассмотреть его в этом сумрачном помещении.

Ваши деньги сохранялись в старых выдвижных ящиках, до того источенных червями, что, когда вы их двигали или захлопывали, мелкие частицы древесины, отделяясь от них, взлетали на воздух и попадали вам в нос и рот. Извлекаемые оттуда ассигнации отличались затхлым запахом, точно они начали разлагаться и скоро опять превратятся в тряпье. Если вы сдавали на хранение свою серебряную посуду, ее относили в подвальные склады по соседству с выгребными ямами, и от этого уже дня через два весь лоск сходил с ее красивой поверхности и она покрывалась пятнами. Ваши документы содержались за крепкими замками в каких-то странных шкафах, очевидно, бывших прежде принадлежностью кухни или кладовой, и весь жир, заключавшийся в пергаменте, испаряясь из деловых актов, насыщал воздух банкирской конторы. Шкатулки с фамильными бумагами более легкого содержания уносились наверх, в большой зал, среди которого стоял громадный обеденный стол, но на котором никто никогда не обедал; зато в тысяча семьсот восьмидесятом году только что отменен был обычай выставять на

Темплских воротах отрубленные головы казненных людей; а прежде эти головы приходились прямо против окон этого зала, а следовательно, глазели на шкатулки, в которых, может быть, вы хранили первые письма своей возлюбленной или ваших маленьких детей. Это бессмысленное жестокое варварство, достойное Абиссинии или ашантиев, прекратилось лишь незадолго перед тем.

Впрочем, смертная казнь была в то время чрезвычайно популярным лекарством во всех слоях общества, в том числе и у Тельсона. Законодательство в этом случае руководствовалось примером природы, которая, как известно, всякие явления улучшает и совершенствует смертью. А потому казнили смертью за подлог, за произнесение бранных слов, за незаконное вскрытие чужого письма, за кражу сорока шиллингов и шести пенсов; казнили уличного мальчишку, который взялся подержать лошадь у дверей Тельсонова банка и вздумал на ней ускакать; казнили фальшивомонетчика – словом, казнили за три четверти тонов всей гаммы преступлений. Нельзя сказать, чтобы это приносило хотя бы малейшую долю пользы в смысле предупреждения провинностей, и даже достойно замечания, что действие было как раз обратное; но по крайней мере в каждом данном случае таким способом сбывалась с рук лишняя забота, и, насколько дело касалось здешнего мира, ею кончалась ответственность за вредного члена общества. Таким образом, один Тельсонов банк, не считая других, современных ему и более значительных учреждений, отправил на тот свет так много народу, что, если бы головы казненных продолжали выставлять на Темплских воротах, в конторе нижнего этажа не оставалось бы и тех проблесков света, которыми она освещалась теперь, и настала бы там зловещая тьма.

И вот, скорчившись в каких-то шкафчиках и клетках, сидели старые старички и с важным видом занимались конторскими делами Тельсонова банка. Иногда бывало, что на службу принимался и молодой человек, но его куда-то запрятывали до тех пор, пока он не состарится. Его, должно быть, держали в темноте, как свежий сыр, и дожидались, покуда он получит настоящий тельсоновский привкус и подернется голубоватым налетом. Только тогда его выпускали из заточения, и всякий мог видеть, как он сидит в очках над большущими счетными книгами и одним видом своих коротких штанов и высоких штиблетов придает вес общему характеру этого тяжеловесного заведения.

У дверей Тельсона, но только отнюдь не внутри конторы (исключая тех случаев, когда его нарочно призывали), держали рассыльного, род добровольца комиссионера, исполнявшего разные поручения и служившего живой вывеской учреждения. Во все часы, когда банк не был заперт, он никогда не отлучался, кроме как по делам конторы, и тогда вместо него дежурил у двери сын его, мальчишка лет двенадцати крайне непривлекательного вида – живой портрет своего отца. Предполагалось, что контора Тельсона с высоты своего величия дозволила рассыльному тут присутствовать. С незапамятных времен кто-нибудь да исполнял подобные обязанности при конторе, и вот, с течением времени и обстоятельств, очутился тут этот самый человек по фамилии Кренчер. В те отдаленные дни, когда в восточной части Сити, на улице Гаундедитч<sup>8</sup>, в приходской церкви совершалось над ним таинство святого крещения, ему дали, сверх того, и христианское имя Джерри.

Место действия: частная квартира мистера Кренчера в переулке Висящего Меча, в квартале Уайт-Фрайерс<sup>9</sup>. Время: раннее утро одного бурного дня в марте месяце тысяча семьсот восьмидесятого года, Anno Domini, половина восьмого утра. (Мистер Кренчер обычно говорил «Анна Домино»: он, должно быть, полагал, что христианская эра считается с того самого дня, как какая-то Анна изобрела игру в домино.)

<sup>8</sup> Гаундедитч (Песий Овраг) был когда-то частью рва, окружавшего лондонский Сити.

<sup>9</sup> Уайт-Фрайерс, т. е. «Белые Братья». Так назывался нищенствующий монашеский орден кармелитов, обосновавшийся в Лондоне в XIII в.

Квартира мистера Кренчера находилась далеко не в чистоплотной местности и состояла всего из двух комнат, даже если считать за комнату чулан с окошечком в одно стекло. Но содержались они очень прилично. Невзирая на столь ранний час этого бурного мартовского утра, комната, где лежал хозяин, была чистенько прибрана; простой дощатый стол был прикрыт белоснежной скатертью, и на нем были аккуратно расставлены чашки и тарелки, приготовленные для завтрака.

Мистер Кренчер покоем на кровати под одеялом, сшитым из множества пестрых лоскутков, точно арлекин на побывке. Сначала он крепко спал, но потом начал вертеться, выдираться из-под простыни и, наконец, поднялся и сел на постели, причем его гвоздеобразные волосы так торчали, что казалось, будто они неминуемо должны были рвать наволочки в ключья. Оглянувшись кругом, он воскликнул разгневанным тоном:

– Черт меня возьми! Она опять!

Опрятная женщина, по всем признакам домовитая хозяйка, стоявшая на коленях в углу, торопливо встала и своим испуганным видом показала, что именно к ней относилось это воззвание.

– Вот как! – сказал мистер Кренчер, наклоняясь с кровати в поисках сапога. – Ты опять за свое?

После этого вторичного приветствия он приступил к третьему, состоявшему в том, что, схватив с полу сапог, он швырнул им в женщину. Сапог был сильно замазан грязью, и, кстати, можно упомянуть мимоходом, что в хозяйственном обиходе мистера Кренчера замечалось очень странное явление: он часто возвращался домой из банка в чистых сапогах, а на другое утро, вставая, заставал их покрытыми грязью.

– Что же это такое?! – сказал мистер Кренчер, не попав в цель и пробуя выразить свои попреки другими словами: – Ты это чем же занимаешься, заноза ты этакая?!

– Я читала молитвы.

– Молитвы читала! Нечего сказать, хороша! Как же ты смеешь хлопаться на пол, да еще молиться *против* меня?!

– Я против тебя не молюсь; я молюсь *за* тебя.

– Врешь! А коли и так, я тебе не давал на то позволения и не потерплю. Гм!.. Вот какая у тебя мать, слышишь, ты, малый Джерри? Взяла да и ну молиться против моей удачи. Да, сынок, такая уж у тебя выдалась послушная маменька. Благочестивая мамаша, что и говорить. Грохнется на пол да и молится, как бы у единственного сына отнять изо рта хлеб с маслом!

Юный Кренчер (еще стоявший в одной рубашке) принял это известие с большим неудовольствием и, обратившись к матери, стал горько упрекать ее в том, что она молится с целью лишить его еды.

– И что ты только думаешь, упрямая баба, – сказал мистер Кренчер, сам не замечая своей непоследовательности. – Не воображаешь ли ты, что твои молитвы так уж действенны. Ну-ка, говори, много ли они стоят?

– Мои молитвы идут от сердца, Джерри; другой цены у них нет.

– Другой цены у них нет, – повторил мистер Кренчер, – ну и правда, что они не дорого стоят. Как бы то ни было, я тебе не велю молиться против меня, так и знай. Это мне не по карману. Не хочу я быть несчастен через твоё кувыркание. Коли хочешь бухаться об пол, бухайся *на пользу* мужу и сыну, а не во вред им. Кабы у меня была не такая строптивая жена, а у этого бедного парня не такая строптивая мать, я бы на той неделе заработал порядочные деньги; а вместо того она мне под руку молитвы читает и так меня обрабатывает своим богомольем, что нет мне удачи ни в чем, да и только! Пр-р-ровалиться мне на месте, – продолжал мистер Кренчер, все время занимаясь своим туалетом, – от этого самого богомолья, за что ни примусь, все помехи, все одни задержки, и во всю неделю хоть бы единый разок что-нибудь удалось мне, бедняге, честному ремесленнику! Эй, ты, юнец, одевайся скорее – я стану сапоги чистить, а



ты тем временем поглядывай на мать и, ежели увидишь, что она собирается опять бухнуться, кликни меня... Да помни ты у меня, – снова обратился он к жене, – я не позволю тебе таким манером становиться мне поперек дороги. Вот, едва на ногах стою, качает меня словно колы-магу, и дремлет, как от сонного зелья, и в голове такой стон стоит, что и не разобрал бы, я ли это или кто другой, и при всем том в кармане никакой прибыли нет; и я так подозреваю, что ты тут с утра до ночи только о том и хлопотала, чтобы ничего не перепало мне в карман, заноза ты этакая, несносная баба... Ну-ка, что ты на это скажешь?

Продолжая рычать на нее и бросая по временам короткие фразы вроде: «Как же! Уж известно, какая ты богомольщица. Ну да! Разве ты пойдешь наперекор своему мужу и сыну? Как бы не так!» – мистер Кренчер, осыпая жену жгучими искрами своего остроумия, принялся чистить свои сапоги и вообще приводить себя в готовность к дневным трудам. Тем временем его сынок, голова которого была тоже украшена торчащими колючками (только помельче), а глаза были поставлены очень близко друг к другу, как и у его отца, зорко наблюдал за своей матерью, как ему было приказано. Он также совершал свой туалет в собственной спальной каморке и от времени до времени выскакивал оттуда и пугал свою мать, выкрикивая: «Сейчас бухнется... Батюшка, смотрите!» – и, подняв такую ложную тревогу, он удалялся обратно в каморку, непочтительно ухмыляясь.

Расположение духа мистера Кренчера несколько не смягчилось и в ту минуту, как они сели завтракать. Особенно вскипел он гневом, когда его жена вздумала прочесть молитву.

– Молчать, заноза! Ты что это? Ты опять за свое?

Жена объяснила, что хотела только призвать на трапезу благословение Божие.

– Не смей этого делать! – сказал мистер Кренчер, озираясь кругом и, очевидно, ожидая, что вот-вот, молитвами его супруги, хлеб исчезнет со стола. – Не хочу я, чтобы меня этими благословениями выживали из дому; мне вовсе не желательно, чтобы по твоей милости у меня еда шарахнулась с тарелки. Сиди смирно!

Его глаза были так красны, а лицо такое сердитое, как будто он всю ночь провел на пирушке, а ушел оттуда несолоно хлебавши; уподобляясь четвероногой твари в зверинце, он не то чтобы ел, а как-то рвал и теребил свой завтрак, не переставая рычать. Однако ж к восьми часам он до некоторой степени успокоился, привел свою внешность в менее взъерошенный вид и, придав себе самую деловитую и приличную осанку, какая была совместима с его природными качествами, отправился из дому.

Хоть он и звал себя «честным торговцем», но занятие его вряд ли можно было назвать торговлей. Все его торговое учреждение состояло из деревянной табуретки, бывшей когда-то стулом; но стул сломался, спинку его отпилили, и он, таким образом, обратился в табурет, который руками юного Джерри, шедшего рядом с отцом, относился каждое утро к зданию Тельсонова банка и ставился под окном конторы, ближайшим к Темплским воротам. Как только мимо них проезжала какая-нибудь телега, они спешили утянуть из нее охапку соломы и, рассыпав ее себе под ноги ради сухости и тепла, устраивались так на весь день.

Пребывая на этом посту, мистер Кренчер был так же всем известен в окрестностях Темпла и Флит-стрит, как и самые Темплские ворота, и представлял собой почти столь же безобразное зрелище.

Джерри утверждался на своем табурете без четверти девять, как раз вовремя, чтобы почтительно прикладывать руку к своей треугольной шляпе, по мере того как старые старички начинали появляться на улице и исчезать в дверях Тельсоновой конторы. Так и в это бурное мартовское утро он сидел на своем месте, а юный Джерри стоял рядом с ним, изредка устремляясь под ворота, дабы наносить телесные и духовные обиды проходящим мальчикам, если они были настолько малы, что не могли еще давать ему сдачи. Отец и сын, похожие друг на друга как две капли воды, молча взирали на обычную утреннюю жизнь Флит-стрит, сдвинувшись головами так же близко, как были сдвинуты между собой глаза каждого из них, и в этом поло-

жении имели разительное сходство с парой обезьян. Это сходство усиливалось еще тем случайным обстоятельством, что старший Джерри то и дело откусывал и выплевывал соломинки, а юный Джерри своими блестящими глазенками беспрерывно наблюдал как отца, так и все вообще, что делалось на улице.

Дверь в контору Тельсона приотворилась, оттуда высунулась голова одного из клерков, который крикнул:

– Нужен посыльный!

– Ур-ра! Батюшка, вот как рано наклюнулось дело для почина!

Проводив родителя таким приветствием, юный Джерри сам сел на табурете, взял в зубы соломинку и, покусывая ее с тем же сосредоточенным вниманием, какое выказывал его отец, раздумывал про себя.

«Всегда ржавчина! Все палыцы выпачканы ржавчиной! – бормотал юный Джерри. – И где только батюшка набирает всю эту железную ржавчину? Здесь нигде не видать ржавого железа».

## Глава II. Зрелище

– Вы, конечно, знаете, где находится суд Олд-Бейли?<sup>10</sup> – спросил один из старейших в мире клерков у посыльного Джерри.

– Гм... знаю, сэр, – отвечал Джерри несколько мрачно. – Во всяком случае, найду дорогу, сэр.

– Хорошо, а знаете вы мистера Лорри?

– Мистера Лорри, сэр, я знаю лучше, чем суд Олд-Бейли. И уж кому, конечно, лучше, – произнес Джерри несколько обиженным тоном, – чем честному торговцу, как я, желательно знать Олд-Бейли.

– И отлично. Отыщите там ту дверь, в которую пропускают свидетелей, и предъявите сторожу вот эту записку к мистеру Лорри. Тогда он вас пропустит.

– В зал суда, сэр?

– Да, в зал суда.

Глаза мистера Кренчера еще немного сдвинулись, как бы обмениваясь вопросом: как тебе это покажется?

– Прикажете мне оставаться там, в суде, сэр? – осведомился он.

– Я вам сейчас объясню. Сторож передаст эту записку мистеру Лорри, а вы постарайтесь каким-нибудь движением привлечь внимание мистера Лорри, чтобы он знал, что вы тут. А потом ваше дело только в том и будет заключаться, чтобы оставаться в зале и ждать, пока вы ему понадобится.

– Только и всего, сэр?

– Только и всего. Он желает иметь под рукой посыльного. В этой записке я его уведомляю, что вы тут.

Старенький клерк не спеша сложил и подписал записку, а мистер Кренчер молча смотрел на него, пока дело не дошло до высушивания надписи пропускной бумагой; тогда Джерри сказал:

– За подлоги, что ли, сегодня судят?

– Нет, дело о государственной измене.

– Стало быть, четвертовать будут. Ужас какой!

– Так следует по закону, – заметил старичок, с удивлением глядя на него через очки, – по закону!

– Ужасно жестокий это закон, чтобы рвать человека на части. Я так думаю, что и убивать-то его тяжело, а всего испортить – еще того хуже, сэр.

– Нисколько, – отвечал старичок, – а вы отзываетесь о законе с уважением. Заботьтесь побольше о своем здоровье и голосе, друг мой, а законы оставьте в покое, они уж сами о себе позаботятся. Послушайтесь моего совета.

– Это от сырости, сэр, у меня грудь заложило и голос такой сиплый, – сказал Джерри. – Сами извольте посудить, каково мне зарабатывать себе пропитание на такой сырости.

– Ладно, ладно, – молвил старичок клерк, – все мы так или иначе должны зарабатывать себе пропитание: одному приходится сыро, другому сухо, а работать все же надо. Вот вам записка. Ступайте.

Джерри взял записку, почтительно поклонился и совсем непочтительно пробормотал себе под нос: «Эх ты, тощий сухарь!» Мимоходом он сказал сыну, куда его послали, и пошел своей дорогой.

---

<sup>10</sup> Олд-Бейли – старинное здание суда в Лондоне. В начале XX в. оно было снесено и на месте его построено новое.

В те дни казни через повешение совершались на Тайберне<sup>11</sup>, а потому улица перед Нью-гетской тюрьмой еще не пользовалась той позорной знаменитостью, какую приобрела с тех пор. Но здание тюрьмы было омерзительное место: там царствовали самые подлые, разнузданные нравы, там водились ужаснейшие болезни, которые вместе с узниками являлись в зал суда и иногда прямо со скамьи подсудимых устремлялись на самого лорда верховного судью и низлагали его с председательского места. Нередко случалось, что судья, надевая черную шапочку, одновременно произносил смертный приговор и себе, и преступнику, и даже умирал прежде его.

Вообще здание Олд-Бейли было известно как некое преддверие смерти: оттуда постоянно вывозили в телегах и в каретах бледных узников, переселявшихся на тот свет; им приходилось переезжать около двух с половиной миль по разным улицам и площадям, и на этом пространстве они очень редко встречали таких добрых граждан, в которых их участь возбуждала бы ужас. Такова сила привычки, и это показывает, между прочим, как важно с самого начала прививать хорошие привычки. Олд-Бейли была также знаменита своим *позорным столбом* – мудрым старинным учреждением, подвергавшим людей наказанию, пределы коего нельзя предугадать; был там и другой столб, к которому привязывали для бичевания, – тоже милое старинное учреждение и, должно быть, немало способствовавшее смягчению нравов среди зрителей; был еще род биржи, где в обширных размерах практиковался дележ добычи после казненных, так называемая цена крови, что систематически вело к совершению ужаснейших преступлений из-за чисто корыстных целей. Одним словом, Олд-Бейли в то время служила блистательным подтверждением того правила, что «все существующее – разумно», и нет сомнения, что этот ленивый и покладливый афоризм утвердился бы навеки, если бы из него же не вытекал тот неизбежный и досадный вывод, что не было и нет ничего неразумного.

Посланный пробирался сквозь развращенную толпу, битком набившую это ужасное место; с хладнокровным искусством человека, привычного всюду находить дорогу, он отыскал надлежащую дверь и просунул письмо в проделанное в ней отверстие. В те времена публика платила деньги за зрелища, происходившие в Олд-Бейли, так же как платили и за право любоваться на зрелище в Бедламе, – только в суде платили дороже. А потому все двери Олд-Бейли были тщательно охраняемы, за исключением тех общественных ворот, через которые преступники попадали в здание: эти были всегда настежь раскрыты.

После некоторой задержки и воркотни дверь с брюзгливым хрипом отворилась на самую малость, и мистер Джерри Кренчер мигом проник через эту щель в зал суда.

– Что тут делается? – спросил он шепотом у ближайшего соседа.

– Пока еще ничего.

– А что же будет?

– За государственную измену будут судить.

– Четвертовать, значит?

– Как же! – отвечал сосед, заранее наслаждаясь предстоящим удовольствием. – Сначала его привезут на тележке и повесят, только не совсем; потом снимут с веревки и станут резать на части перед его собственным носом; потом вынут его внутренности и на его глазах сожгут их; потом отсекут ему голову и разрубят туловище начетверо. Вот какой будет приговор.

– То есть если признают его виновным? – молвил Джерри в виде поправки.

– О, конечно, признают виновным! – сказал тот. – Уж на этот счет будьте покойны.

Тут внимание мистера Кренчера было отвлечено видом сторожа, пробиравшегося с письмом в руке к мистеру Лорри.

---

<sup>11</sup> Тайберн – небольшой приток Темзы, в настоящее время текущий под землей. В старину на берегу Тайберна (в черте города) производились казни, причем вокруг виселицы устраивались места для публики, сдававшиеся за высокую плату.

Мистер Лорри сидел у стола в ряду других джентльменов в париках. Неподалеку от него сидел джентльмен в парике, имевший перед собой целую кучу бумаг; это был защитник подсудимого. А напротив них сидел еще один джентльмен в парике, засунув руки в карманы и, насколько мог судить мистер Кренчер, во все время заседания смотревший только на потолок. Джерри несколько раз громко кашлянул, почесывал себе подбородок, взмахивал рукой в воздухе и с помощью этих сигналов успел наконец привлечь внимание мистера Лорри, который привстал с места, чтобы наверное узнать, где он стоит, спокойно кивнул ему и снова сел.

– А *он* здесь в какой же должности состоит? – спросил сосед мистера Кренчера.

– Вот уж этого не знаю, – отвечал Джерри.

– Ну а вы же тут при чем, если позволительно об этом спросить?

– И этого также не знаю, – сказал Джерри.

Разговор был прерван приходом судьи и последовавшим затем великим передвижением и рассаживанием в зале. Всеобщий интерес сосредоточился на скамье подсудимых, находившейся за особой решетчатой перегородкой. Двое тюремщиков, стоявших там до этой минуты, вышли, потом ввели подсудимого и поставили его у решетки.

Каждый из присутствовавших впился в него глазами, за исключением джентльмена в парике, продолжавшего смотреть в потолок. Все, что было живого в зале, устремилось в ту сторону, и дыхание множества людей понеслось туда же, перекатываясь, как волны, как ветер, как огненные языки. Внимательные лица тянулись из всех закоулков, из-за колонн, из-за соседей, чтобы только взглянуть на него. Зрители задних рядов вставали, чтобы хорошенько рассмотреть его; публика, стоявшая на полу зала, опиралась на плечи передних рядов, подсакивала в воздух, становилась на цыпочки, влезала на стенные полки, чтобы хорошенько видеть подсудимого. В числе зрителей выдающуюся роль играл и Джерри, олицетворявший собой утыканную гвоздями стену Ньюгетской тюрьмы; и он усиленно дышал на узника испарениями той кружки пива, которую хватил на перепутье сюда, и его дыхание смешивалось с волнами другого пива, водки, чая, кофе и мало ли каких еще испарений, успевших распространить в зале туман, а на больших окнах позади публики осесть в виде грязных капель.

Предметом такого напряженного глазения был молодой человек лет двадцати пяти, высокого роста, красивой наружности, с загорелым лицом и темными глазами. Он принадлежал к дворянскому сословию: он был одет в простое платье черного или очень темного оттенка серого цвета; его длинные черные волосы были собраны пучком и перевязаны лентой на затылке больше ради удобства, нежели в виде украшения. Как всякое душевное волнение проявляется сквозь всякую телесную одежду, так и бледность, обусловленная его положением, проступала на его щеках сквозь покрывавший их загар, показывая, что дух сильнее солнца. Впрочем, он держал себя с полным самообладанием, поклонился судье и тихо встал у решетки.

Интерес, возбуждаемый этим человеком в окружающей публике, был далеко не высокого сорта. Если бы ему угрожал не такой чудовищный приговор, если бы можно было предполагать, что хоть одна из жестоких подробностей этого приговора будет смягчена, – ровно настолько же уменьшилась бы привлекательность события. Потому и глазели на него так усиленно, что его тело предназначалось к беспощадному терзанию: оттого и ощущалось это напряженное любопытство, что вот это самое бессмертное существо будут мучить и рвать на части. Каким бы глянцем ни старались зрители покрывать свою любознательность согласно личной способности каждого к самообману, проявляемый ими интерес был, в сущности, интересом людоедов.

– Тише там, молчать! Вчерашнего числа Чарльз Дарней не признал себя виновным по обвинению (составленному в самых кудрявых и напыщенных выражениях) в государственной измене против нашего всепресветлого, державного, великого государя и короля, учиненной им тем, что он неоднократно и различными способами помогал Людовику, королю Французскому, воевать против Его Величества, нашего всепресветлого, державного и прочее, а именно разъезжая постоянно между владениями Его Величества, нашего всепресветлого, державного

и прочее, и владениями упомянутого французского короля Людовика, обманными, лукавыми, предательскими и всякими вообще предосудительными способами разузнавал и доносил означенному французскому королю Людовику о том, какими силами располагает и сколько войска намеревается высылать в Канаду и Северную Америку наш всепресветлый, державный, великий государь и прочее.

По мере того как Джерри выслушивал этот обвинительный акт, гвоздеобразные вихры на его голове становились дыбом, и он с живейшим наслаждением уразумел, что вышеозначенный и многократно упомянутый Чарльз Дарней предается суду, что присяжные приводятся к присяге и что господин генеральный прокурор сейчас начнет говорить.

Подсудимый знал, что ему угрожает, и видел, что каждый из присутствующих мысленно уже вешает его, а потом обезглавливает и четвертует, но не выказывал волнения и не принимал театральной позы. Он стоял спокойно и внимательно, прислушивался к речам серьезно и вдумчиво, и руки его так неподвижно покоились на доске, положенной сверх перил, что не потревожили ни одного листочка, ни травки, которыми покрыта была доска. В зале суда всюду были рассыпаны ароматические травы, покропленные уксусом, в виде предохранительной меры против тюремного воздуха и тюремной горячки.

Над головой подсудимого укреплено было зеркало, наводившее на него усиленный свет. Какие толпы преступных и несчастных отражались в нем и сколько было таких, которые, перестав отражаться на его поверхности, исчезали и с лица земли! И какие вереницы страшных призраков появились бы в этом гнусном месте, если бы это зеркало могло отдать обратно миру все, что в нем отражалось, подобно тому как океану суждено со временем отдать своих мертвецов. Быть может, в уме подсудимого промелькнула мысль о том, ради каких позорных целей помещалось тут это зеркало. По крайней мере, когда он слегка обернулся и свет ударил ему в лицо, он невольно взглянул вверх и увидел свое отражение; тогда он покраснел, и правая рука его сдвинула травку с доски.

Случилось так, что этим движением он повернулся влево и взглянул перед собой: там, в углу судейской скамьи, сидели двое людей, вид которых сразу приковал его внимание; он смотрел на них так пристально и при этом в выражении его лица произошла такая заметная перемена, что все глаза, устремленные только на него, обратились в тот угол.

Зрители увидели там молодую девушку, лет около двадцати, и джентльмена, очевидно, бывшего ее отцом; наружность его была очень замечательна тем, что волосы у него были совершенно белые, а выражение лица необыкновенно напряженное, но не в смысле внешней деятельности, а, напротив, сосредоточенное в какой-то внутренней работе ума. Пока на его лице оставалось выражение, он казался дряхлым стариком, но, как только оно нарушалось, оживлялся и он – как было в эту минуту, когда он обратился к своей дочери и что-то говорил ей, – и превращался в красивого мужчину средних лет.

Дочь сидела с ним рядом, одну руку продев под его руку, а другой держась за нее. Она прижималась к отцу, в испуге оттого, что происходило кругом, в порыве жалости к узнику. На ее лице выражалось столько ужаса и сострадания, она была так очевидно подавлена опасностью, угрожавшей подсудимому, что зрители, глазевшие на него без всякой жалости, были тронуты ее сочувствием. В толпе раздавался шепот: «Это кто?»

Джерри, посыльный, все подмечавший и толковавший по-своему, все слушавший с таким напряженным вниманием, что по рассеянности сосал себе пальцы и чуть не слизал с них всю ржавчину, изо всех сил вытягивал шею, стараясь расслышать, кто они такие. Ближайшие к нему соседи шепотом передавали друг другу этот вопрос, который дошел наконец до передних рядов, задан был одному из сторожей, и тем же путем, только еще с большей расстановкой, получился ответ; наконец и Джерри услышал:

- Свидетели.
- С какой стороны?

- С противной.
- Против кого же они показывают?
- Против подсудимого.

Судья также посмотрел в ту сторону, куда все смотрели, потом перевел глаза на человека, жизнь которого была в его руках, и, откинувшись на спинку кресла, вперил в него пристальный взор, пока вставший у стола господин генеральный прокурор свивал веревки, точил секиру и скреплял гвоздями мысленно воздвигаемый им эшафот.

### Глава III. Разочарование

Господин генеральный прокурор сообщил присяжным заседателям, что стоящий перед ними подсудимый хотя молод годами, но уже очень давно занимается предательскими интригами, которые ныне караются смертной казнью. Сношения его с врагами отечества начались не со вчерашнего дня и длятся не с нынешнего года и даже не с прошлого. Положительно установлен тот факт, что подсудимый с давнего времени разъезжает из Англии во Францию и обратно по секретным делам, объяснить каковые чистосердечно он не может. Так что, если бы изменническим делам суждено было процветать в этом мире (чего, по счастью, никогда не бывает), могло бы случиться, что и сии злобные и преступные поступки оставались бы неизвестными. Но Провидению угодно было внушить одному человеку, не ведающему ни страха, ни упрека, мысль доискаться истинного смысла действий сего преступника и, ужаснувшись одного, донести о том господину первому министру Его Величества, а также высокопочтенному Государственному совету. Означенный патриот своевременно предстанет перед судом присяжных. Положение его, а равно и поведение превыше всяких похвал. Он был другом и приближенным подсудимого, но в один счастливый и в то же время недобрый час решил, что не может долее сохранять в своей груди привязанность к этому человеку, и, убедившись в его гнусности, поверг его на алтарь священной любви к отечеству. Если бы в пределах Великобритании существовал обычай воздвигать статуи благодетелям общества, как то делалось в Древней Греции и Риме, нет сомнения, что и этому достойному гражданину воздвигли бы статую. Но так как у нас такого обычая нет, то вероятно, что ему таковой не воздвигнут. Между тем добродетель, по справедливому замечанию поэтов (многие изречения которых, по глубокому убеждению господина прокурора, господа присяжные готовы хоть сейчас привести наизусть, слово в слово, тогда как, судя по лицам господ присяжных, ясно было, что они и не слыхали о таких поэтических изречениях, в чем и признавали себя виновными), – добродетель бывает, так сказать, заразительна; тем более такая добродетель, как патриотизм, сиречь любовь к отечеству. Таким образом, случилось, что высокий пример сего безупречного и бескорыстного свидетеля – одно упоминание коего можно считать за особую честь – вдохновил лакея подсудимого, внушив ему благочестивую и достохвальную решимость перерыть карманы и выдвижные ящики стола своего барина, извлечь оттоле его бумаги и представить оные куда следует. Господин генеральный прокурор заявил вслед за тем, будто ожидает услышать некоторое порицание таковому образу действий этого превосходного лакея, но что до него лично, то он (то есть сам господин прокурор) склонен любить его пуще родных братьев и сестер, а почитает больше, чем собственных (прокурорских) отца с матерью. И вот он взывает к господам присяжным заседателям, приглашая и их сделать то же. Далее он говорил, что показания этих двух свидетелей, в связи с находящимися при деле документами, покажут, что подсудимый доставал списки военных сил Его Величества, равно как планы их расположения и степень боевой готовности как на море, так и на суше, и что нет ни малейшего сомнения в том, что таковые списки он имел обыкновение каждый раз передавать в руки враждебной державы. Нельзя доказать, чтобы списки эти писаны были его собственной рукой, но это все равно, и даже, пожалуй, еще лучше, ибо доказывает, сколь хитер и осторожен был подсудимый в своих действиях. И вот уже пять лет, как он занимается такими зловредными делами, и занимался ими за несколько недель до того дня, когда состоялась первая стычка британских войск с американцами. А потому господа присяжные заседатели, будучи людьми добросовестными (как то доподлинно известно ему, господину прокурору) и облеченными притом великой ответственностью (что не менее известно им самим), должны неминуемо признать его безусловно виновным и подвергнуть смертной казни, как бы это ни казалось им прискорбно; в противном случае, никогда они со спокойной совестью не смогут положить головы на свои подушки и никогда не допустят, чтобы их жены



опустили головы на свои подушки, и им противно будет подумать, чтобы их дети когда-нибудь клали головы на свои подушки; короче говоря, ни для них, ни для их семейств не будет больше возможности покоиться на подушках, если голова подсудимого останется на его собственных плечах. Эту самую голову господин генеральный прокурор формально потребовал теперь во имя всего, что только мог уложить в закругленные фразы, и притом торжественнейшим образом заверил господ присяжных, что, со своей стороны, считает подсудимого как бы уже казненным и умершим.

Когда умолк господин генеральный прокурор, по залу прошли гул и жужжание, как будто поднялась целая туча больших синих мух-стервятниц и закружилась вокруг подсудимого, заранее смакуя мысль о том, во что он скоро должен превратиться. Когда же стихло их жужжание, на скамье свидетелей появился безукоризненный патриот.

Тогда поднялся с места господин стряпчий по делам казны и начал допрашивать патриота.

Имя его – Джон Барсед, дворянин. История его непорочной души была вполне тождественна с тем, как ее описывал господин генеральный прокурор, и описал, быть может, с избытком точности. Когда он выложил из своего благородного сердца все, что его тяготило, он бы охотно и скромно удалился из зала, но тут в дело вступился джентльмен в парике, имевший перед собой кучу бумаг и сидевший неподалеку от мистера Лорри; он попросит позволения, со своей стороны, задать несколько вопросов свидетелю.

Другой джентльмен в парике, сидевший напротив него, продолжал все так же смотреть в потолок.

- Не служил ли сам свидетель шпионом?
- Нет, ему и слушать противно, что его подозревают в такой низости.
- Чем он, собственно, живет?
- Доходами со своего имения.
- А где находится его имение?
- Наверное не может припомнить.
- Из чего состоит это имение?
- До этого никому дела нет.
- Что же, оно ему в наследство досталось?
- Да, в наследство.
- От кого?
- От дальней родни.
- Очень дальней?
- Да, пожалуй.
- Свидетель сидел в тюрьме?
- Конечно нет.
- Как! И в долговой тюрьме не сживал?
- Это не имеет отношения к делу.
- Так и в долговой тюрьме не бывал?.. Ну-ка, еще раз попробуем. В долговой сживал?
- Да.
- Сколько раз?
- Раза два или три.
- А не пять или шесть?
- Может быть.
- Из какого сословия?
- Джентльмен.
- Бывал ли бит когда?
- Могло стать.

- А часто ли?
- Нет.
- И с лестницы спускали?
- Нет. Раз как-то было, что столкнули с верхней ступени, а свалился с лестницы сам, добровольно.
- Это в тот раз, как сплутовал в игре в кости?
- Что-то в этом роде говорил тогда толкнувший его пьяница, но это все враки.
- Может ли он поклясться, что это была неправда?
- Сколько угодно.
- А не жил ли он тем, что вел нечистую игру?
- Никогда.
- И вообще не наживался игрой?
- Не больше того, как и другие джентльмены.
- Не брал ли денег взаймы у подсудимого?
- Брал.
- А возвращал ли долги?
- Нет.
- Не была ли его дружба с подсудимым просто знакомством и не старался ли свидетель навязываться ему при случайных встречах, например, в почтовых каретах, в гостиницах, на кораблях?
- Нет.
- Уверен ли он, что видел у подсудимого эти самые списки?
- Уверен.
- А что еще известно свидетелю насчет списков?
- Ничего.
- Не сам ли он доставлял их подсудимому?
- Нет.
- Ожидает ли что-нибудь получить за эти показания?
- Нет.
- Не состоит ли на постоянном жалованье от казны за расставление политических ловушек?
- О нет! Как можно!
- Или за другие услуги?
- Нет! Как можно!
- И готов присягнуть в этом?
- Сколько угодно.
- Так что все делает единственно из патриотизма?
- Единственно.

Второй свидетель, добродетельный лакей Роджер Клай, присягает с превеликим усердием. Оказывается, что он поступил в услужение к подсудимому года четыре назад, к полной невинности души. Встретив подсудимого на корабле, шедшем в Кале, он осведомился, не нужен ли ему в лакеи ловкий парень, и подсудимый нанял его. Он не просил подсудимого взять его к себе на службу из милости и даже не думал просить. Поселившись у него, он вскоре возымел подозрения и стал наблюдать за хозяином. Укладывая его платье в дорогу, он много раз замечал в его карманах точно такие списки. Такие же списки вытащил он из выдвижного ящика его стола. Нет, он предварительно не клал их туда. Видел, как подсудимый показывал эти самые листы французским джентльменам в Кале; и хотя не эти, но точно такие же листы показывал другим французским джентльменам как в Кале, так и в Булони. Свидетель горячо любит свою родину, а потому не мог этого вытерпеть и донес. Правда, его обвиняли в краже

серебряного чайника; подозревали как-то, и, конечно, понапрасну, в утайке горчицницы, да и та оказалась не серебряная, а только накладного серебра. С предыдущим свидетелем знаком лет семь или восемь, и совершенно случайно. Не находит, чтобы эта случайность была *особенно* любопытным совпадением. Совпадения до некоторой степени всегда любопытны. Не находит любопытного совпадения и в том, что руководствуется *также* чистейшим патриотизмом. Он истинный британец и надеется, что таких найдется довольно много.

Опять зажужжали синие мухи, и господин генеральный прокурор вызвал мистера Джервиса Лорри.

– Мистер Джервис Лорри, вы состоите конторщиком Тельсонова банка?

– Точно так.

– В ноябре тысяча семьсот семьдесят пятого года, в пятницу вечером, не проезжали ли вы по делам фирмы из Лондона в Дувр в почтовом дилижансе?

– Проезжал.

– Были ли в том дилижансе другие пассажиры?

– Двое.

– Не выходили ли они из кареты в течение ночи?

– Выходили оба.

– Мистер Лорри, посмотрите на подсудимого. Не был ли он одним из этих двух пассажиров?

– Этого я никак не могу сказать.

– Не похож ли он на которого-нибудь из тех пассажиров?

– Оба они так плотно были закутаны, а ночь была так темна и все мы так сторонились друг друга, что даже и этого я не могу сказать.

– Мистер Лорри, взгляните опять на подсудимого. Если закутать его так, как были одеты те пассажиры, не кажется ли вам, что он ростом и фигурой напоминает одного из них?

– Нет.

– Однако вы не присягнете в том, что он не был одним из них, мистер Лорри?

– Нет.

– Стало быть, вы по крайней мере можете сказать, что он мог быть одним из них?

– Да. С той лишь оговоркой, что я помню, как они – а также и я сам – боялись разбойников, а у подсудимого вид совсем не робкий.

– Случалось ли вам, мистер Лорри, быть свидетелем притворной робости?

– Без сомнения, случалось.

– Мистер Лорри, посмотрите еще раз на подсудимого. Можете ли вы наверное сказать, что когда-нибудь видели его?

– Да, видел.

– Где?

– Через несколько дней после того я возвращался из Франции, и, когда сел на корабль в Кале, подсудимый также пришел с берега на тот же корабль и вместе со мной приплыл в Англию.

– В какую пору он пришел на корабль?

– Немного позже полуночи.

– Стало быть, в глухую полночь. Был ли он единственным пассажиром, явившимся на корабль в такое исключительное время?

– Да, случилось так, что он был единственным.

– Не ваше дело разбирать, было ли это *случайностью*, мистер Лорри. Следовательно, он был единственным пассажиром, явившимся на корабль в глухую полночь?

– Точно так.

– Вы одни путешествовали, мистер Лорри, или еще кто-нибудь был с вами?

– У меня было двое спутников: джентльмен и леди. Вот они здесь.

– Они здесь. Вы о чем-нибудь разговаривали с подсудимым?

– Едва ли. Погода была бурная, море очень беспокойное, мы плыли долго, и я почти все время лежал на диване, от начала и до конца путешествия.

– Мисс Манетт!

Молодая девушка, на которую недавно все смотрели и теперь снова уставились глазами, встала со своего места. Ее отец встал вместе с ней, продолжая держать ее под руку.

– Мисс Манетт, взгляните на подсудимого.

Встать на очную ставку с таким воплощением сострадания, с такой юностью и красотой, с таким глубоким сочувствием, струившимся из ее глаз, оказалось для подсудимого гораздо труднее, нежели встать на очную ставку со всей этой злобной толпой. Он вдруг почувствовал себя стоящим вместе с нею на краю своей собственной могилы, и это его так потрясло, что, невзирая на устремленные на него со всех сторон любопытные и жадные глаза, он не мог победить своего волнения и нервно перебирал правой рукой рассыпанные перед ним травинки, из которых в его воображении рисовался цветущий сад. Он старался не дышать так ускоренно и так прерывисто, и от этого усилия вся кровь его отхлынула к сердцу, губы побледнели и задрожали. Большие синие мухи зажужжали опять.

– Мисс Манетт, видели ли вы подсудимого?

– Да, сэр.

– Где именно?

– На почтовом корабле, о котором здесь сейчас было упомянуто, сэр, и при тех же обстоятельствах.

– Вы и есть та молодая леди, о которой сейчас было упомянуто?

– О, к несчастью, это я!

Жалобная мелодия ее голоса потонула в жестокой интонации судьбы, который произнес не без ярости:

– Извольте отвечать на предлагаемые вопросы и не делать никаких замечаний! Мисс Манетт, разговаривали вы с подсудимым во время этого переезда через канал?

– Разговаривала, сэр.

– Припомните и повторите вашу беседу.

Среди глубокой тишины она начала слабым голосом:

– Когда этот джентльмен пришел на корабль...

– Вы говорите о подсудимом? – перебил ее судья, нахмутив брови.

– Точно так, милорд.

– Так и зовите его *подсудимым*.

– Когда подсудимый пришел на корабль, он заметил, что отец мой (тут она любящими глазами взглянула на стоявшего возле нее отца) сильно утомился и вообще слабого здоровья. Отец мой был так изнурен, что я побоялась лишать его свежего воздуха и постлала ему постель на палубе, у лесенки, ведущей в каюты, а сама села возле него на пол, чтобы удобнее за ним наблюдать. В ту ночь на корабле не было иных пассажиров, кроме нас четверых. Подсудимый был так добр, что попросил позволения показать мне, как лучше защитить моего отца от дождя и ветра, чего я сама не умела сделать. Я не знала, как устроиться, потому что не понимала, откуда будет ветер, когда мы выйдем из гавани. А он знал это и устроил нас как следует. Он выразил большое участие к состоянию моего отца, и я уверена, что он в самом деле был так добр, как показался мне. С этого и начался наш разговор.

– Позвольте прервать вас на минуту. Когда он пришел на корабль, он был один?

– Нет.

– Кто же был с ним?

– Двое джентльменов, французы.

- Беседовали они между собой?
- Беседовали до последней минуты, пока тем джентльменам не потребовалось сойти обратно в лодку и отчалить к берегу.
- Обменялись они между собой бумагами, похожими вот на эти списки?
- Какие-то бумаги они передавали друг другу, но какие именно, мне неизвестно.
- А по форме и величине они были сходны с этими?
- Может быть, но я этого, право, не знаю, хотя они стояли от меня совсем близко и разговаривали шепотом, – потому что они подошли к самой лесенке, ведущей в каюты, под свет висевшего там фонаря; но фонарь горел тускло, говорили они очень тихо, я не слыхала ни одного слова, видела только, что они рассматривали какие-то бумаги.
- Ну, теперь передайте нам ваш разговор с подсудимым, мисс Манетт.
- Подсудимый держал себя так же просто и откровенно со мной, как был, по причине моей неумелости и беспомощного положения, добр и внимателен к моему отцу. Надеюсь (тут она вдруг заплакала), что за все его добро я не отплачу ему сегодня никаким вредом.

Синие мухи зажужжали.

– Мисс Манетт, если подсудимый не понимает, что вы в высшей степени неохотно даете показания, которые, однако, вы обязаны дать и дадите непременно, то он в этом зале единственный человек такой непонятливый. Прошу вас продолжать.

– Он говорил мне, что путешествует по делам трудного и деликатного свойства, которые могут вовлечь в неприятности других лиц, а потому ездит под вымышленным именем. Говорил, что по этим делам он был теперь во Франции, но через несколько дней опять туда поедет и, может быть, довольно долго еще будет от времени до времени ездить туда и обратно.

– Не говорил ли он чего насчет Америки, мисс Манетт? Рассказывайте подробнее.

– Он старался мне разъяснить, из-за чего вышла эта война, и указал, что, насколько он может судить, со стороны Англии глупо и несправедливо было затевать ссору. Потом стал шутить и сказал, что, может быть, со временем Джордж Вашингтон будет в истории так же знаменит, как и король Георг Третий<sup>12</sup>. Только он это несерьезно говорил, а так, смеялся, чтобы как-нибудь провести время.

Когда на сцене происходит что-нибудь особенно интересное и главный актер резко выражает лицом какое-нибудь сильное чувство, у внимательных зрителей бессознательно появляется на лицах то же самое выражение. На лице девушки заметно было болезненное напряжение и глубокая тревога как в те минуты, когда она давала показание, так и в те промежутки, пока судья записывал их, а она смотрела на адвокатов той и другой стороны, желая угадать, какое впечатление производят на них ее слова. Среди зрителей во всех концах зала замечалось то же выражение, так что на большей части лбов в публике видна была та же напряженная складка, когда судья оторвал глаза от своих заметок и бросил вокруг себя негодующий взор при столь странном и неприличном намеке на Джорджа Вашингтона.

Тут господин присяжный стряпчий доложил милорду, что в видах предосторожности и ради соблюдения формы он считает нужным вызвать для дачи свидетельских показаний отца этой молодой девицы, доктора Манетта.

Его вызывают.

– Доктор Манетт, взгляните на подсудимого. Видели ли вы его когда-нибудь?

– Один раз. Он приходил ко мне на квартиру в Лондоне. Тому назад года три... или три с половиной.

---

<sup>12</sup> Джордж Вашингтон (1732–1799) – первый президент Северо-Американских Соединенных Штатов. Стоял во главе североамериканских войск во время войны с Англией, где в это время царствовал Георг III.

– Признаете ли вы его за то лицо, которое вместе с вами переплывало Британский канал на почтовом корабле, и можете ли вы подтвердить показания вашей дочери насчет его разговора с нею?

– Нет, сэр, ни того ни другого я сделать не могу.

– Нет ли какой особой причины, почему вы не в состоянии этого сделать?

Он отвечал тихим голосом:

– Да, есть.

– Правда ли, что вы имели несчастье подвергнуться продолжительному заключению в тюрьме – без суда и даже без объяснения причин – там, у себя на родине, доктор Манетт?

Он отвечал таким тоном, который проник во все сердца:

– Да, я долго сидел в тюрьме.

– И вы только что были выпущены на волю в то время, о котором теперь идет речь?

– Да, говорят, что так.

– Разве сами вы не сохранили об этом воспоминаний?

– Никаких. Я ничего не помню с тех пор... я даже не знаю, с каких пор... помню только, что в тюрьме я занимался шитьем башмаков, а потом очутился в Лондоне с моей милой дочерью. Я успел привыкнуть к ней к тому времени, как Милосердный Господь возвратил мне умственные способности, но даже и теперь не умел бы сказать, каким образом я к ней привык. Я не помню, как это происходило.

Господин присяжный стряпчий сел на свое место, и отец с дочерью последовали его примеру.

Тогда дело приняло странный оборот. Предстояло доказать и выяснить, что подсудимый, ехавший за пять лет назад в ноябре месяце из Лондона в Дувр в почтовой карете вместе с каким-то другим товарищем, который не разыскан, вышел, не доезжая Дувра, ночью из кареты, но сделал это из хитрости и, дойдя до какого-то селения, поехал назад, миль за двенадцать или более того, остановился в городе, где был военный гарнизон и адмиралтейское управление, и там собирал сведения. Вызван был свидетель, признавший подсудимого тем самым лицом, которое он в то время видел в ресторане гостиницы в том городе, где были гарнизон и адмиралтейство, и узнал, что этот человек дожидался там кого-то другого. Адвокат подсудимого произвел этому свидетелю перекрестный допрос, но ничего не добился, исключая показания, что свидетель никогда больше не видел подсудимого. В эту минуту джентльмен в парике, до сих пор смотревший в потолок, оторвался от этого занятия и, написав слова два на клочке бумаги, перекинул этот клочок через стол защитнику. В следующий перерыв защитник развернул бумажку, прочел, что там было написано, и с величайшим вниманием и даже любопытством стал рассматривать подсудимого.

– Так вы говорите, что совершенно уверены в тождественности того человека с личностью подсудимого?

Свидетель повторил, что он совершенно уверен.

– А не случилось вам видеть кого-нибудь очень похожего на подсудимого?

Не настолько, по мнению свидетеля, чтобы не отличить одного от другого.

– Посмотрите-ка хорошенько вот на этого джентльмена, моего почтенного собрата, – сказал адвокат, указывая на того, кто перебрал ему бумажку, – а потом еще раз посмотрите на подсудимого. Как вы скажете? Очень они схожи друг с другом?

Помимо того что наружность почтенного собрата была довольно неопрятна, неряшлива и даже изобличала нетрезвое поведение, они были до того схожи, что это обстоятельство поразило и свидетеля, и всех присутствующих с той минуты, как на это было обращено всеобщее внимание. Когда же к милорду обратились с просьбой позволить почтенному собрату снять парик, на что милорд очень неохотно дал свое согласие, то сходство оказалось еще более разительным.

Милорд, то есть судья, обратился к мистеру Страйверу (защитнику подсудимого) с вопросом, не думает ли он и мистера Картона (почтенного собрата) привлечь к суду по подозрению в государственной измене. Но мистер Страйвер отвечал милорду, что никоим образом не имеет этого в виду; он только желает спросить у свидетеля, возможно ли, чтобы то, что случилось однажды, случилось и дважды; так же ли уверенно давал бы он свое показание, если бы раньше заметил то, что теперь было для него очевидно, и может ли теперь, при такой очевидности, повторить свое прежнее показание. В конце концов он разбил показания этого свидетеля, точно глиняный сосуд, и превратил его участие в деле в кучу негодного мусора.

Тем временем мистер Кренчер, усердно следя за ходом судебного разбирательства, сгрыз со своих пальцев почти всю ржавчину. Теперь его внимание обратилось на речь мистера Страйвера, который так обращался с господами присяжными заседателями, точно примерял на них пару платья, сшитого как раз по мерке. Он доказывал им, что этот патриот Барсед не что иное, как подкупленный шпион, предатель, бессовестный торговец человеческой кровью и один из величайших негодяев со времен окаянного Иуды, на которого он действительно смахивал, по правде сказать. Он доказывал также, что добродетельный слуга Клай, его закадычный приятель и сотрудник, вполне достоин этого звания, что бдительные очи обоих этих ложных свидетелей и клятвопреступников избрали своей жертвой подсудимого на том основании, что он был родом француз и, будучи вынужден по некоторым семейным делам совершать такие переезды через Британский канал, не может, из деликатности к людям ему дорогим и близким, объяснить, какого рода эти дела, даже если бы его собственная жизнь зависела от разоблачения этих семейных секретов. Что до показаний, насильно вымученных от этой молодой леди (а уж кажется, всем было ясно, до чего она страдала, давая свои ответы), – все это сущий вздор и пустяки, не более как невинные любезности и приятные разговоры, неизбежные в тех случаях, когда судьба сталкивает молодого человека с молодой девушкой при подобных обстоятельствах; исключение составляет разве только отзыв о Джордже Вашингтоне; но сам по себе он так нелеп и неправдоподобен, что нельзя его рассматривать иначе как неудачную шутку. Со стороны правительства было бы просто слабодушием взыскивать с человека за подобную попытку приобрести популярность, это было бы потворством низшим инстинктам и антипатиям толпы; потому господин коронный стряпчий так и распространялся на эту тему; а между тем все обвинение построено единственно на подлых и гнусных доносах, нередко придающих подобным процессам совсем извращенный характер, чему мы видели немало примеров в уголовных судах нашего отечества по обвинению в государственных преступлениях...

Но тут вступился милорд и, соорудив такую серьезную физиономию, точно это не было чистой правдой, заметил, что не может позволить, чтобы в его присутствии делались подобные оскорбительные намеки.

Мистер Страйвер вызвал немногих свидетелей в пользу подсудимого, после чего мистер Кренчер слушал, как господин коронный стряпчий вывертывал наизнанку все новое платье, только что напяленное на присяжных заседателей стараниями мистера Страйвера, доказывая, что Барсед и Клай еще во сто раз лучше того, чем он думал вначале, а подсудимый еще во сто раз хуже. Затем милорд произнес заключительную речь, выворачивая то же платье то налицо, то наизнанку, но с тем расчетом, чтобы в конце концов из него вышел гробовой саван для подсудимого.

После этого присяжные удалились для совещания, а синие мухи опять поднялись и загудели.

Мистер Картон, так долго сидевший уставив глаза в потолок, не тронулся с места и не переменил позы даже в эту животрепещущую минуту. Между тем как его почтенный собрат мистер Страйвер приводил в порядок нагроможденные перед ним бумаги, перешептывался с ближайшими соседями и тревожно оглядывался в ту сторону, куда ушли присяжные; между тем как все зрители более или менее волновались, переходили с места на место, образуя новые

группы; между тем как даже сам милорд встал со своего места и медленно прохаживался взад и вперед по помосту, так что среди присутствующих зародилось подозрение, будто он находится в лихорадочном состоянии, – один только мистер Картон сидел развалясь; его оборванная мантия наполовину слезла с его плеч, а парик, кое-как нахлобученный на голову, после того как он его снимал, сидел на нем криво, руки были засунуты в карманы, а глаза по-прежнему уставлены в потолок. В его манере держаться было что-то особенно неряшливое и беспечное, что не только придавало ему неблагонадежный вид, но значительно ослабляло сходство его с подсудимым, хотя это сходство было несомненно и поразительно в ту минуту, когда их сличали на суде и когда он смотрел на публику с более сосредоточенным выражением на лице. Зато теперь, глядя на него, многие из зрителей замечали друг другу, что вот трудно даже подумать, чтобы они были так похожи.

То же и мистер Кренчер сказал своему соседу, прибавив:

– Готов заложить полгинеи, что *этот* от судейской службы не наживется. Он не из тех, которым поручают обдѣлывать важные дела. А? Как по-вашему?

Однако этот самый мистер Картон видел все, что делалось кругом, и подмечал даже больше других. Когда голова мисс Манетт беспомощно упала на грудь ее отца, он первый заметил это и явственно произнес:

– Пристав, обратите внимание на молодую леди. Помогите джентльмену вынести ее из зала. Разве вы не видите, что она сейчас упадет?

Пока ее уносили, публика выражала великую жалость к ней и сочувствие к ее отцу. Было очевидно, что для него было крайне тяжело воспоминание о своем тюремном заключении. Он сильно волновался, пока допрашивали его дочь, и с той минуты в его лице утвердилось то скорбное и напряженно-вдумчивое выражение, которое омрачало его, подобно черной туче, и придавало ему такой старческий вид. Когда он вышел, присяжные вернулись, и после минутного молчания их старшина обратился к судье с просьбой.

Оказалось, что присяжные не согласны между собой и просят позволения удалиться и подумать, прежде нежели они окончательно сговорятся. Милорд (у которого все еще, быть может, не выходил из ума Джордж Вашингтон) несколько удивился тому, что они не согласны, однако милостиво разрешил им удалиться, конечно, под охраной сторожей, и удалился сам. Судоворение заняло весь день, и в зале начали зажигать лампы. Носились слухи, будто присяжные будут совещаться долго. Зрители понемногу стали расходиться перекусить чего-нибудь, а подсудимый отошел к задней стене своей загородки и там сел на скамью.

Мистер Лорри, уходивший из зала, когда уводили молодую леди и ее отца, теперь вернулся и поманил к себе Джерри. Толпа значительно поредела, и Джерри легко прошел вперед.

– Джерри, если вы проголодались, можете пойти закусить. Но не уходите совсем; будьте непременно к тому времени, когда войдут присяжные. Ни минуты не опоздайте, потому что, когда произнесут приговор, я пошлю вас немедленно в банк с известием, что дело кончилось. Вы самый расторопный из всех посыльных и успеете дойти до Темплских ворот гораздо скорее меня.

Джерри кивнул в знак того, что понимает, в чем дело, а также и в знак благодарности за врученный ему при этом случае шиллинг. В ту же минуту подошел мистер Картон и тронул мистера Лорри за плечо:

– Как себя чувствует молодая леди?

– Она ужасно горюет, но отец всячески утешает ее, и ей теперь все-таки лучше, потому что она ушла из зала суда.

– Я передам эти сведения подсудимому. Было бы, может быть, неприлично, знаете ли, если бы такой почтенный банковский деятель, как вы, публично вступал в беседу с ним.

Мистер Лорри покраснел, как бы сознавая, что и сам об этом думал, а мистер Картон пошел из-за судейской решетки к ораде для подсудимых. Так как выход из зала приходился



с той же стороны, Джерри не утерпел и остановился послушать, насторожив глаза, уши и свои гвоздеобразные вихры.

– Мистер Дарней!

Подсудимый тотчас встал и подошел.

– Вы, натурально, интересуетесь личностью свидетельницы, мисс Манетт. Она ничего, оправилась. Вы были свидетелем худшего момента ее припадка.

– Глубоко сожалею, что был его причиной. Не можете ли вы передать ей это от меня вместе с выражением моей признательности?

– Могу. И сделаю это, если вы попросите.

Мистер Картон вел себя так небрежно, что был почти нахален. Он стоял вполоборота к подсудимому, упершись локтем в решетку.

– Я прошу вас об этом. Примите мою искреннюю благодарность.

– А что, – молвил Картон, все так же стоя к нему боком, – чего вы ожидаете, мистер Дарней?

– Худшего.

– Да, пожалуй, всего умнее ожидать худшего; да оно и вероятнее. Однако же мне кажется, что это продолжительное совещание в вашу пользу.

Так как долго стоять у решетки не дозволялось, Джерри вынужден был уйти и больше ничего не слышал; а они остались, так сходные между собой чертами, так несходные в манерах, они стояли рядом и оба отражались в зеркале, укрепленном над их головами.

Полтора часа тяжело и медленно прошли в нижних сенях и коридорах, битком набитых ворами и мошенниками, которые тем временем развлекались и подкреплялись пирожками с бараниной и пивом. Напившись, в свою очередь, этими яствами, посыльный кое-как примостился на лавке и задремал; вдруг он очнулся от громкого говора и быстрого движения в толпе, устремившейся вверх по лестнице в зал суда. Туда же устремился и он.

– Джерри, Джерри! – кричал мистер Лорри, уже стоявший в дверях.

– Я здесь, сэр! Никак не проберешься в такой толпе. Вишь, как напирают. Я тут, сэр!

Мистер Лорри через головы идущих протянул ему бумажку.

– Скорее! Ухватили, что ли?

– Ухватил, сэр.

На бумажке было наскоро написано только одно слово: «Оправдан».

– Вот если бы теперь велели сказать, что «возвращается к жизни», – бормотал Джерри, отправляясь в путь, – так я бы на этот раз понял, в чем дело.

Но ему некогда было не только говорить, но и думать о чем-либо, пока он окончательно не выбрался из здания Олд-Бейли: народ повалил оттуда с такой стремительной поспешностью, что его едва не сшибли с ног, и на улице долго еще слышалось жужжание и гудение, как будто синие мухи ошиблись в расчете и, видя, что тут нечем поживиться, полетели дальше искать другой падали.

## Глава IV. Поздравительная

Последние остатки паров, весь день кипевших в этом человеческом котле, вырывались наружу по коридорам и переходам судебного здания, когда в одном из таких, очень скудно освещенных, закоулков собралась небольшая группа людей: тут были доктор Манетт, Люси Манетт, его дочь, мистер Лорри, стряпчий со стороны подсудимого, и адвокат его, мистер Страйвер; все они окружили мистера Чарльза Дарнея, только что выпущенного на свободу, и поздравляли его с избавлением от смертного приговора.

Доктор Манетт держался так прямо и лицо его было так осмысленно, что даже и при более ярком освещении трудно было признать в нем того башмачника, что когда-то тачал дамскую обувь на парижском чердаке. И однако кто видел его хоть раз, непременно оборачивался, чтобы взглянуть еще раз, хотя бы даже не имел случая слышать печальной музыки его тихого низкого голоса, ни наблюдать той рассеянности, которая внезапно находила на него без всякой видимой причины. Была, однако, одна внешняя причина, неминуемо вызывавшая со дна его души именно такое состояние; так было и сегодня на суде; но и помимо этой причины в его натуре была склонность к подобной отвлеченности; она сама собой овладевала им и налагала на него мрачную тень, столь же необъяснимую для окружающих, как если бы они увидели на нем среди ясного летнего дня тень от настоящей парижской Бастилии, находившейся от него за триста миль.

Одна только дочь его имела власть освобождать его душу от этих мрачных чар. Она была той золотой нитью, которая связывала его далекое прошлое с настоящей минутой, минуя весь страшный период его мучительного тюремного заключения; звук ее голоса, вид ее светлого лица, прикосновение ее руки оказывали на него благотворное влияние и почти всегда имели власть над ним. Бывали случаи, когда и ее влияние оказывалось бессильным, но это случалось редко, притом в слабой степени и уже давно не повторялось. Она думала, что и не повторится больше.

Мистер Дарней с горячей признательностью поцеловал ее руку и, обратясь к мистеру Страйверу, усердно благодарил его. Мистеру Страйверу было с небольшим тридцать лет, но он казался на двадцать лет старше. Это был дюжий, толстый, громогласный человек, с багровым лицом и решительными манерами; он никогда не стеснялся никакими деликатными соображениями и так бесцеремонно втирался во всякое общество и вмешивался во всякие разговоры, что заранее можно было поручиться, что он себе проложит дорогу в свете. Он все еще был в парике и мантии и, подойдя к упомянутой группе, так подбоченился, что сразу нечаянно вытеснил из группы собеседников неповинного мистера Лорри.

– Я рад, что с честью выпутал вас из дела, мистер Дарней, – сказал Страйвер. – Это было преподлое обвинение, прямо, можно сказать, гнусное, но именно по этой причине оно имело все шансы быть успешным.

– Вы меня обязали на всю жизнь, и даже в двух смыслах, – сказал его недавний клиент, взяв его за руку.

– Сделал все, что мог, в вашу пользу, мистер Дарней, и полагаю, что справился со своей задачей не хуже кого другого.

Ясно, что на такие слова кому-нибудь следовало сказать: «Конечно, гораздо лучше!»

И мистер Лорри взял на себя произнесение этого замечания; может быть, не совсем бескорыстно, а с той корыстной целью, чтобы опять втиснуться в ту же группу.

– Вы думаете? – молвил мистер Страйвер. – Что ж, вы целый день тут присутствовали, можете судить. К тому же вы сами – человек практический.

– И в качестве такового, – сказал мистер Лорри, обратно втиснутый в эту группу мощным плечом искусного законоведа тем же самым порядком, как был оттерт сначала, – в каче-

стве такового я обращаюсь к доктору Манетту с ходатайством распустить собрание и нас всех разослать по домам. Мисс Люси имеет нездоровый вид, мистеру Дарнею выдался из рук вон тяжелый день, и все мы измучены вконец.

– Говорите за себя, мистер Лорри, – сказал Страйвер, – мне предстоит еще весь вечер поработать. Говорите за себя.

– Я и говорю за себя, – отвечал мистер Лорри, – а также за мистера Дарнея, за мисс Люси и... Мисс Люси, как вы думаете, можно ли то же сказать *о нас всех*?

Он задал этот вопрос с особым ударением, мельком указав глазами на ее отца.

Лицо старца как будто застыло с выражением напряженного любопытства в глазах: он смотрел на Дарнея, и пристальный взгляд его все более омрачался оттенками антипатии, недоверия и даже как будто страха. С этим странным выражением на лице, он, очевидно, совершенно позабывал все окружающее.

– Папа, – сказала Люси, тихонько тронув его за плечо.

Он медленно стряхнул с себя набегавшую тень и оглянулся на нее.

– Пойдем домой, папа?

Он глубоко вздохнул и промолвил:

– Да.

Оправданный подсудимый полагал, что едва ли будет выпущен из тюрьмы в тот же вечер; он так и сказал своим друзьям, и под этим впечатлением они расстались с ним. В коридорах почти все огни были потушены, железные ворота со скрипом и грохотом запирались; унылое здание опустело, но опустело лишь до следующего утра: назавтра сызнова пробудится интерес к виселице, к позорному столбу, к публичному бичеванию и клеймению каленым железом, и, следовательно, толпа снова хлынет в это здание. Люси Манетт, идя между отцом и мистером Дарнеем, вышла на улицу. Кликнули извозчичью карету, и отец с дочерью уехали.

Мистер Страйвер отстал от них еще в коридоре и, проталкиваясь в обратном направлении, прошел в ту комнату, где должностные лица судебного ведомства переодевались, меняя свои официальные одежды на обыкновенное платье. Зато другой человек, не принадлежавший к группе, ни с кем из них не обменявшийся ни одним словом, все время стоял в самом темном углу; потом, вслед за доктором и его дочерью, он молча вышел на улицу и смотрел на них, пока не уехала карета. Тогда он подошел к мистеру Лорри и мистеру Дарнею, стоявшим на мостовой.

– Вот как, мистер Лорри! – сказал он. – Стало быть, теперь и деловым людям не возбраняется побеседовать с мистером Дарнеем?

Никому не пришло в голову заметить, каково было участие, принятое мистером Картоном в событиях этого дня; никто даже и не знал об этом. Он уже успел переодеться, но наружность его от этого нисколько не выиграла.

– Если бы вы знали, мистер Дарней, – продолжал он, обращаясь к Дарнею, – какая жестокая борьба происходит в уме делового человека, когда, с одной стороны, его одолевают человеческие благородные чувства, а с другой – он находится под гнетом деловых соображений, – вы бы, право, позабавились!

Мистер Лорри покраснел и сказал с горячностью:

– Вы уже не в первый раз на это намекаете, сэр! Мы, деловые люди, служащие известной фирме, не можем считать себя вполне свободными в своих действиях. Мы обязаны думать о фирме гораздо больше, чем о себе.

– Я знаю, я-то знаю! – беззаботно подхватил мистер Картон. – Ну, не кипятитесь, мистер Лорри. Вы такой же, как и все остальные, не хуже, в этом я уверен, даже лучше многих других.

– А я, сэр, – продолжал мистер Лорри, не обращая внимания на его слова, – я, право, не знаю, какое вам до этого дело. Вы меня извините, тем более что я гораздо старше вас и, кажется, имею право выражать свое мнение... но я решительно нахожу, что это не ваше дело.

– Еще бы! Господь с вами, конечно! Вообще никакого дела у меня во всем свете нет, – сказал мистер Картон.

– Весьма сожалею об этом, сэр...

– Вот и я тоже сожалею.

– ...потому что, – продолжал мистер Лорри, – будь у вас настоящее, собственное дело, вы бы им и занимались.

– Э, бог с вами, нет! Все равно не занимался бы, – сказал мистер Картон.

– Что же, сэр! – воскликнул мистер Лорри, окончательно выведенный из себя его беспечным тоном. – Дела, деловые занятия – очень хорошая и очень почтенная вещь. И если случается, сэр, что деловые соображения налагают на человека некоторую узду, понуждая его к сдержанности и молчанию, наверное, мистер Дарней, как молодой и благородный джентльмен, сумеет по достоинству оценить такое обстоятельство. Мистер Дарней, доброй ночи, Господь с вами, сэр! Надеюсь, что Бог для того сохранил вам сегодня жизнь, чтобы вы ее прожили счастливо и благополучно. Эй, носилки!

Досадуя на юриста, а может быть, и на себя самого, мистер Лорри поспешно залез в носилки, и его понесли к Тельсонову банку. Картон, от которого пахло портвейном, да и на вид он казался не совсем трезвым, рассмеялся и обратился к Дарнею:

– Удивительно, как это судьба столкнула нас с вами. Вам, должно быть, страшно очутиться сегодня на уличной мостовой наедине с вашим двойником?

– Я все еще не могу опомниться, – отвечал Чарльз Дарней, – и уверить себя в том, что действительно существую в этом мире.

– И неудивительно; давно ли вы были на пути к совсем иному миру? Вы и говорите чуть слышно, точно умирающий.

– Я начинаю думать, что в самом деле я ослабел.

– Так какого же черта вы не обедаете? Вот я так успел пообедать... воспользовался тем временем, когда эти болваны обсуждали вопрос, жить ли вам в этом мире или отправляться в другой... Пойдемте, я вам покажу ближайший трактир, где можно хорошо поесть.

Он взял его под руку и повел по Людгет-Хилл на Флит-стрит, а там, войдя в крытые ворота, повернул в харчевню. Им отвели особую каморку, и Чарльз Дарней вскоре принялся подкреплять свои силы простыми, но хорошими яствами и добрым вином. Картон уселся против него за тем же столом, запасшись своей особой бутылкой портвейна и не расставаясь со своей странной, довольно нахальной манерой.

– Ну что, мистер Дарней, чувствуете вы, что снова заняли свое место в нашей части света?

– Касательно времени и места у меня в голове страшная путаница, а по части остального, кажется, начинаю понимать что следует.

– Какое это, должно быть, отрадное чувство!

Картон произнес эти слова с горечью и снова налил себе полный стакан. Он пил из стакана большого размера.

– Что до меня, я более всего на свете желал бы позабыть, что принадлежу к этому миру. Для меня ничего в нем нет хорошего, за исключением вот такого вина... я ни для чего не гожусь... Так что в этом отношении мы с вами несходны... Да и вообще, если хорошенько пораздумать, между нами во всех отношениях очень мало сходства.

Ошеломленный волнениями этого дня, Чарльз Дарней как сквозь сон сознавал себя в обществе своего грубого двойника и решительно не знал, что отвечать на такие речи; в конце концов он просто промолчал.

– Ну, теперь вы кончили обедать, – сказал Картон, – что же вы не провозглашаете никакого тоста? Почему вы не пьете ни за чье здоровье, мистер Дарней?

– Какой тост?... Чье здоровье?..

– Да ведь оно у вас на языке вертится... По крайней мере должно бы вертеться... Да наверное, так и есть; я готов поклясться, что так!

– Ну, так... здоровье мисс Манетт!

– То-то же и есть; за здоровье мисс Манетт!

Глядя прямо в лицо собеседнику, покуда тот выпивал рюмку, Картон швырнул свой стакан через плечо в стену и разбил его вдребезги, потом позвонил и приказал подать себе другой.

– А ведь хорошо, должно быть, в сумерки провожать такую молоденькую барышню до кареты, мистер Дарней? – сказал он, наполняя новый стакан.

Тот слегка нахмурился и отрывисто произнес:

– Да!

– Хорошо и то, когда такая молоденькая барышня пожалеет тебя, да еще поплачет о тебе... Желал бы я знать, что при этом чувствует человек? Стоит ли подвергаться уголовному суду и рисковать жизнью, чтобы стать предметом такого сочувствия и удостоиться такой жалости... а, мистер Дарней?

Дарней опять промолчал.

– Как она обрадовалась, когда я передал ей ваше поручение! Впрочем, она ничем не обнаруживала своей радости; только я и сам догадался.

Этот намек вовремя напомнил Дарнею, что его неприятный собеседник по собственной доброй воле оказал ему сегодня существенную услугу во время суда. Дарней тотчас свернул разговор на эту тему и выразил ему свою благодарность.

– Не нужно мне благодарности, да и не за что благодарить, – возразил Картон беспечно. – Во-первых, то, что я сделал, был сущий пустяк, а во-вторых, я сам не знаю, зачем я это сделал... Слушайте, мистер Дарней, позвольте задать вам вопрос.

– Сделайте одолжение, я рад хоть чем-нибудь отплатить вам за добрую услугу.

– Не думаете ли вы, что я к вам чувствую особое расположение?

– Извините, мистер Картон, – сказал Дарней, не на шутку смущаясь, – я еще и самому себе не задавал такого вопроса.

– А вот я теперь спрашиваю вас об этом.

– Ваши действия как будто намекали на такое особое расположение... но не думаю, чтобы вы его чувствовали.

– И я тоже не думаю, чтобы чувствовал, – сказал Картон, – зато я начинаю думать, что вы чрезвычайно догадливы.

– Тем не менее, – продолжал Дарней, вставая и протягивая руку к звонку, – надеюсь, что это не помешает мне заплатить по счету и расстаться с вами без взаимного неудовольствия.

Картон отвечал:

– О, конечно!

И Дарней позвонил.

– Вы как намерены рассчитаться, мой счет тоже берете на себя? – спросил Картон.

Дарней ответил утвердительно.

– В таком случае, человек, принеси мне другую пинту этого самого вина и приди разбудить меня ровно в десять часов.

Заплатив по счету, Чарльз Дарней встал и пожелал ему спокойной ночи. Картон также встал, не отвечая на пожелание, и, глядя на него не то с вызывающим видом, не то с угрозой, сказал:

– Еще одно слово, мистер Дарней; вы думаете, что я пьян?

– Я думаю, что вы... пили, мистер Картон.

– Чего тут думать, вы *знаете*, что я пил.

– Раз вы сами этого хотите... да, я это знаю.

– Так знайте же, отчего я пью. Я пропащий человек, неудачник, сэр. Ни до кого на свете мне дела нет, и ни одна душа на свете не тужит обо мне.

– Это очень жаль. Вы могли бы лучше употребить свои способности.

– Может быть, так, мистер Дарней, а может быть, и нет. А впрочем, не слишком любуйтесь на свою трезвую физиономию: еще неизвестно, куда она вас заведет. Спокойной ночи!

Оставшись один, этот странный человек взял свечу и, подойдя к висевшему на стене зеркалу, начал пристально смотреться в него.

– Нравится тебе этот господин? – бормотал он, вперив глаза в свое собственное отражение. – С чего бы ощущать особое расположение к человеку за то, что он на тебя похож. В тебе ведь нет ничего столь же симпатичного, и ты это знаешь. Ах, чтоб тебя!.. Как же ты себя изуродовал! Нечего сказать, хороша причина для особого расположения к человеку, когда видишь по нему, как низко ты пал и чем бы ты мог быть. Поменяйся-ка с ним местами, тогда и увидишь, посмотрят ли на тебя те голубые глазки так, как на него смотрели, и станет ли из-за тебя так волноваться то сострадательное личико?.. Ну что тут пустяки болтать, признавайся начистоту... Ты просто ненавидишь того господина!

Он обратился за утешением к поданной ему пинте вина, выпил ее до капли в несколько минут и заснул, положив голову на руки. Волосы его разметались по столу, а свеча оплыла, и светильня низко свесилась над ним, обдавая его сольными каплями.

## Глава V. Шакал

То были времена сильного пьянства, и многие мужчины пили непомерно. С тех пор нравы наши до такой степени улучшились, что если в точности определить, сколько именно вина и пунша поглощал в течение вечера один человек того времени, нимало не теряя репутации вполне порядочного и приличного джентльмена, это может показаться смешным преувеличением в наши дни. Ученые-законоведы той эпохи, конечно, не отставали от других профессий в своих вакхических стремлениях; также и мистер Страйвер не отставал от своих сотоварищей: с равным успехом он пробивал себе путь к широкой известности, к выгодной практике и предавался обильным возлияниям.

Становясь любимым детищем суда присяжных при Олд-Бейли, а также надежной опорой окружных сессий, мистер Страйвер осторожно устранял со своего пути те первые ступени общественной лестницы, по которой он постепенно поднимался. Зато теперь и суд присяжных, и окружные сессии призывали своего любимца с распростертыми объятиями; он старался как можно чаще попадаться на глаза лорду главному судье, и цветущий лик мистера Страйвера всякий день можно было встретить в палате Королевской Скамьи<sup>13</sup>, где он, подобно крупному подсолнечнику, ежедневно расцветал из кущи судейских париков, повертывая свою физиономию только к солнцу.

В суде и прежде было замечено, что мистер Страйвер был человек развязный, ничем не стеснявшийся, смелый и бойкий на язык, но что у него не было способности схватывать на лету сущность свидетельских показаний и выделять из целой кучи хлама то, что было действительно ценно и пригодно в данном случае; а между тем это талант наиболее важный и необходимый для каждого адвоката. Но с некоторого времени мистер Страйвер сделал замечательные успехи по этой части. Чем больше поручали ему дел, тем сильнее развивалась у него, по-видимому, способность в короткое время добираться до самой сути; и, как бы поздно ни засиживались они по вечерам с Сидни Картоном, выпивая одну бутылку за другой, наутро мистер Страйвер знал все пункты дела как свои пять пальцев.

Сидни Картон, величайший шалопай и бездельник, был важнейшим сподвижником Страйвера. В том количестве спиртных напитков, что они вдвоем поглощали, считая с январской сессии и до Михайлова дня<sup>14</sup>, можно было утопить любой королевский корабль. Где бы ни был Страйвер и какое бы дело ни взялся он защищать, Сидни Картон был непременно тут: засунув руки в карманы, он сидел в зале суда и смотрел в потолок. Они всегда вместе объезжали округ и даже во время сессий продолжали все так же кутить по ночам; говорили, что Картон иногда среди бела дня украдкой и неверными шагами пробирался к своей квартире наподобие беспутного кота. Наконец люди, заинтересованные в таких вопросах, порешили между собой, что хотя Сидни Картон никогда не будет львом в своей профессии, но зато из него образовался превосходнейший шакал, и в этом скромном звании он оказывал Страйверу неисчислимые услуги и содействие.

– Десять часов, сэр, – доложил трактирный слуга, которому он поручил разбудить себя. – Десять часов, сэр!

– Что случилось?

– Десять часов било, сэр.

– Это что же значит? Десять часов вечера, что ли?

– Точно так, сэр. Вы изволили приказать мне разбудить себя.

---

<sup>13</sup> Суд Королевской Скамьи – Верховный суд в Англии. Первоначально судебное разбирательство производилось под председательством короля.

<sup>14</sup> Михайлов день – начало осенней сессии.

– О-о! Да, помню. Хорошо, хорошо.

Он попробовал еще несколько раз приловчиться и вздремнуть, но слуга каждый раз препятствовал этому, начиная возиться кочергой в камине; наконец он не отрываясь погромел кочергой минут пять сряду, так что Картон проснулся окончательно, встал, надел шляпу и вышел на улицу. Повернув в Темпл, он два раза прошелся по мостовой мимо Королевского суда и Судебного архива и, достаточно освежившись, вошел в квартиру Страйвера.

Клерк Страйвера никогда не присутствовал на этих юридических совещаниях и был уже отпущен домой. Страйвер сам отпер дверь. Он был в туфлях, в халате и с голой шеей ради большего удобства. Его глаза, с постоянно воспаленными веками, отличались тем несколько диким, напряженным выражением, которое замечается у всех кутил этого сорта, начиная с портрета Джеффриса<sup>15</sup> и кончая всеми портретами пьяниц, как бы художники ни старались смягчить эту неизбежную в них черту.

– Маленько запоздали, мистер Мемори<sup>16</sup>, – сказал Страйвер.

– Как всегда; если опоздал, то никак не больше как на четверть часа.

Они прошли в комнату мрачного вида, с книжными полками по стенам и с ворохами бумаг повсюду; в камине пылал огонь, над очагом висел на крючке кипящий котел, а из-за кучи бумаг возвышался стол, на котором находился обильный запас вина, водки, рому, а также сахар и лимоны.

– Вы пропустили все-таки бутылочку... оно и видно, Сидни.

– Даже две, кажется. Я обедал с сегодняшним нашим клиентом, то есть смотрел, как он обедал... Но это все едино.

– А ведь ловко вы подпустили этот пункт насчет отождествления личности. Как это вам пришло в голову? Когда вы надумались?

– Сначала просто думал, что он довольно красивый малый, а потом подумал, что вот каким бы я мог быть, если бы не горькая моя судьба.

Мистер Страйвер рассмеялся так, что всколыхнулось его преждевременное брюшко.

– Туда же, с горькой судьбой!.. Принимайтесь-ка за работу, Сидни, принимайтесь за работу!

Шакал довольно угрюмо расстегнулся, прошел в соседнюю комнату и принес оттуда кувшин с холодной водой, таз и пару полотенец. Намочив полотенце в воде, он слегка выжал его, обмотал им голову, что вышло очень безобразно, присел к столу и сказал:

– Я готов.

– На нынешний вечер не больно много намстряпни, Мемори, – сказал мистер Страйвер, весело перебирая лежавшие перед ним бумаги.

– А сколько всего?

– Только и есть два дела.

– Дайте мне сперва то, что похуже.

– Вот вам, берите. Ну, Сидни, валяйте!

И лев, повалившись на спину, растянулся на диване по одну сторону питейного стола, между тем как шакал расположился по другую его сторону на другом конце, заваленном бумагами; впрочем, бутылки и стаканы были у него под рукой. Оба юриста прибегали к этому развлечению с одинаковым усердием, но на разный манер: лев большей частью лежал, засунув руки за пояс, глядя на огонь или прочитывая какой-нибудь документ более легкого содержания; шакал же сидел, нахмутив брови с сосредоточенным видом, и так углублялся в занятия, что, не отрывая глаз от бумаг, протягивал руку за стаканом и часто по целой минуте, и даже дольше, ощупью искал его по столу. Раз два или три запутанное дело становилось так сбив-

---

<sup>15</sup> Джорж Джеффрис (1648–1689) – знаменитый английский судья, а впоследствии государственный канцлер.

<sup>16</sup> Мемори – память (англ.).



чиво, что шакал был вынужден вставать из-за стола и сызнава намачивать полотенце холодной водой. Возвращался он из этих походов с такими диковинными сооружениями из мокрого тряпья на своей голове, что описать невозможно; и эти уборы были тем уморительнее, что он сам оставался напряженно-серьезным.

Наконец шакал состряпал для льва сытную трапезу и преподал ее в готовом виде. Лев принял пищу осторожно, смаковал ее внимательно, выбрал, что было ему особенно по вкусу, высказал несколько замечаний по этому поводу, а шакал во всем ему помогал. Покончив с этим блюдом, лев снова засунул руки за пояс, улегся на диван и предался размышлениям. Тогда шакал подкрепил свои силы стаканом вина, сызнава обмотал голову мокрыми полотенцами и принялся за изготовление второго блюда. Провозившись с ним, сколько было нужно, он по-прежнему подал его льву, и они так же сообща обсудили его со всех сторон; вся эта работа кончилась не прежде, чем на городских колокольнях прозвонило три часа утра.

– Ну, теперь дело в шляпе, Сидни. Налейте-ка мне стакан пунша, – сказал Страйвер.

Шакал снял с головы полотенца, от которых пошел пар, потянулся, зевнул, повел плечами и повиновался.

– Отлично вы сегодня ставили вопросы свидетелям, Сидни; чрезвычайно разумно было подстроено: каждое слово попадало в цель.

– Я всегда разумно ставлю вопросы, вы не находите?

– Нет, с этим я не спорю. Только отчего вы не в духе? Выпейте пуншу, авось он смягчит ваше настроение.

Шакал пробурчал какое-то извинение и выпил.

– Все тот же прежний Сидни Картон, как был в шрусберийской школе<sup>17</sup>, так и остался, – сказал мистер Страйвер, покачивая головой и разглядывая своего собеседника дней настоящих и минувших. – Что ни час, то новое настроение: сейчас был весел, а через минуту заскучал; только что шутил – и вдруг затуманился!

– Ах да, – молвил Картон со вздохом, – все тот же Сидни, и все та же моя горькая судьба. Ведь даже и тогда, в школе, я часто писал сочинения для товарищей, а своих почти никогда не писал.

– Это почему же?

– Бог ведает. Должно быть, таков уж я от природы.

Он сидел заложив руки в карманы, вытянув ноги и глядя на огонь.

– Картон... – сказал его приятель, усаживаясь против него в самой решительной и задорной позе, как будто каминный очаг был тем самым горнилом, где вырабатываются похвальные усилия, а долг дружбы повелевал ему схватить прежнего Сидни Картон и ввергнуть его насильно в это горнило. – Картон, вам всегда недоставало силы характера и теперь недостает. У вас нет ни энергии, ни твердо намеченной цели. Посмотрите на меня!..

– Ох, увольте, пожалуйста! – молвил Сидни, рассмеявшись немного спокойнее и веселее. – Уж не вам бы разводить нравоучения.

– А как же я добился того, чего достиг? – сказал Страйвер. – Как я поступаю и что делаю?

– Да вот, во-первых, платите мне за то, чтобы я работал за вас... Да, впрочем, напрасно вы трудитесь взывать ко мне или к Небесам по этому поводу. Вы поступаете, как вам желательно, вот и все. Вы всегда были в первом ряду, а я всегда позади.

– Но мне нужно же было пробиться в первый-то ряд; ведь я не от рождения там очутился.

– Не знаю, я при вашем рождении не присутствовал, но коли на то пошло, то, по-моему, вы и родились в первом ряду, – сказал Картон, рассмеявшись, после чего оба принялись хохотать.

---

<sup>17</sup> Шрусберийская школа – одна из лучших английских школ; находится в г. Шрусбери.

– И до Шрусбери, и в Шрусбери, и после Шрусбери, – продолжал Картон, – вы шли в своем ряду, а я в своем. Даже в ту пору, как мы с вами были студентами в Латинском квартале, упражнялись во французском языке, изучали французские законы и некоторые другие стороны французской жизни, от которых особенного толку для нас не вышло, даже и тогда вы из этого всегда что-нибудь извлекали для себя, а я – ничего.

– А кто был виноват в этом?

– Ей-богу, мне что-то кажется, что виноваты были вы. Вы вечно куда-то стремились, продирались, суеились и столько хлопотали, что я уставал смотреть на вас и мне ничего больше не оставалось, как отдыхать и сидеть смирно. Однако ужасно скверная вещь – поминать свое прошлое, когда начинает светать. На прощание дайте, пожалуйста, другое направление моим мыслям.

– Ну ладно! Предлагаю тост... Выпьем за здоровье хорошенькой свидетельницы, – сказал Страйвер, подняв стакан. – Надеюсь, ваши мысли приняли приятное направление?

По-видимому, нет, потому что он снова принял угрюмый вид.

– Хорошенькая свидетельница!.. – пробормотал он, глядя в свой стакан. – Будет с меня свидетелей... надоели уж за целые сутки... Кто же такая ваша хорошенькая свидетельница?

– А дочка-то живописного доктора, мисс Манетт.

– Разве она хорошенькая?

– А то как же!

– Нет.

– Да что вы, опомнитесь! Весь суд на нее залюбовался!

– Очень мне нужно его любование! С каких это пор суд присяжных берется судить о красоте? Просто кукла с желтыми волосами, и больше ничего.

– А знаете ли, Сидни, – сказал мистер Страйвер, пытливо глядя на него и медленно проводя рукой по своему красному лицу, – знаете ли, мне в то время показалось, что вы восчувствовали симпатию к желтоволосой кукле и даже очень скоро подметили, что с ней приключилось.

– Скоро подметил? Еще бы не подметить! Если девочка – все равно, кукла она или не кукла, – падает в обморок перед самым моим носом, это поневоле увидишь, даже и без подозрительной трубки. Выпить за ее здоровье я могу, но с тем, что она красавица, я не согласен. И не хочу больше пить, просто пойду спать.

Когда хозяин взял свечу и проводил его на лестницу, холодный дневной свет уже пробивался сквозь тусклые окна. Картон вышел на улицу. Воздух был холоден и печален, небо серо и пасмурно, река чернела сквозь туман, и все казалось пустынно и безжизненно. Утренний ветер крутил уличную пыль, как будто где-то далеко, в настоящей пустыне, поднялся песчаный вихрь и, достигнув Лондона, начинает замечать его.

Чувствуя в себе понапрасну растраченные силы, а вокруг себя видя одну лишь голую пустыню, этот человек остановился на минуту среди безмолвной площадки и умственным взором увидел впереди мираж – благородного честолюбия, самоотвержения, настойчивости... В этом видении мелькнул перед ним какой-то изумительный город с воздушными галереями, с которых на него глядели образы любви и красоты, роскошные сады, где созревали плоды жизни и сверкали на солнце светлые воды счастливых надежд... Через минуту видение исчезло.

Подойдя к группе домов, образовавших между собой нечто вроде колодца, он полез в самый верхний этаж, не раздеваясь бросился на свою измятую постель, и вскоре подушка его оросилась бесплодными слезами.

Грустно, печально вставало солнце; из всех картин, освещенных им, самое печальное зрелище представлял этот даровитый человек, способный и на хорошие дела, и на добрые чувства, но неспособный управлять ими как следует, не способный ни устроить свою жизнь, ни

устроить свое собственное счастье, – и он живо чувствовал свое унижение, но не оказывал ему никакого противодействия и знал, что порок погубит его неминуемо.

## Глава VI. Сотни всякого народа

Спокойная квартира доктора Манетта помещалась в угловом доме тихой улицы неподалеку от сквера Сохо. В один прекрасный воскресный день, через четыре месяца после того, как происходил суд по делу о государственной измене, – и, следовательно, публика успела давно позабыть об этом, – мистер Джервис Лорри шел по освещенным солнцем улицам из Клеркенуэла, где он жил, к жилищу доктора – обедать. Неотложные дела не раз мешали мистеру Лорри укреплять это знакомство, но мало-помалу он подружился с доктором, и эта квартира в угловом доме стала солнечной стороной его жизни.

В этот воскресный день мистер Лорри шел в квартал Сохо в довольно ранний час, после полудня, по трем причинам: во-первых, потому, что по воскресеньям в хорошую погоду он часто гулял перед обедом вместе с доктором и Люси; во-вторых, в нехорошую погоду он привык все-таки приходить к ним как друг дома, проводя время в разговорах, за чтением или просто сидя у их окна и глядя на улицу; в-третьих, ему пришли в голову некоторые сомнения, которые ему очень хотелось разрешить, и он знал, что теперь самый подходящий час, чтобы получить в доме доктора некоторые существенные для него сведения.

Во всем Лондоне не было уголка милее и оригинальнее того закоулка, где жил доктор. Дом был непроходной, и окна фасада докторской квартиры выходили на коротенькую глухую улицу с приятным видом вдаль, что придавало ей характер уединения и простора. В то время к северу от Оксфордской дороги строений было мало; там росли лесные деревья, трава пестрела полевыми цветами, и цветущий боярышник благоухал на лугах, ныне вовсе исчезнувших. По этой причине сельский воздух свободно разгуливал по сторонам квартала Сохо, как добрый сосед, а не как жалкий пришелец, нечаянно пробравшийся в чужой приход и не находящий там себе ни привета, ни пристанища; в этой местности немало было и прочных кирпичных стен, обращенных на юг, где в свое время вызревали персики.

В раннюю пору дня летнее солнце ярко освещало этот закоулок, но, как только на улицах становилось жарко, там была тень, хотя оттуда было видно пространство, залитое светом. Место было прохладное, тихое, но веселое, удивительно приспособленное для отголосков всякого рода и в высшей степени отрадное для того, кто попадал туда из шумных и пыльных улиц.

В такой спокойной гавани следовало ожидать присутствия спокойной ладьи, и она там была. Доктор занимал два этажа большого тихого дома, где, судя по вывескам, занимались разными искусствами и ремеслами, но днем о них было почти не слышно, а по ночам и вовсе никого не было в отведенных им помещениях. За домом был двор, среди которого росло старое дерево, чинара, тихо шелестевшая своими крупными зелеными листьями; а в заднем конце двора помещалось здание, где, казалось, фабриковались церковные органы, плавил серебро и чеканили золото, и все это, очевидно, проделывал какой-то таинственный великан, просушивший свою гигантскую золотую руку сквозь стену главных сеней, над самой парадной дверью; этой рукой он как будто хотел показать свое искусство превращать труд в золото, угрожая посетителям совершить такое же превращение и над ними.

Были слухи, что наверху жил какой-то одинокий постоялец, а внизу была контора обойщика городских экипажей, но ни торговли, ни мастерских, ни обитателей почти никогда не было ни видно, ни слышно. Изредка встречался в главных сенях одинокий работник, на ходу надевавший куртку, или появлялся за справкой совсем чужой человек; от времени до времени раздавалось на весь двор отдаленное звяканье металла или мерное постукивание молотком со стороны золотого великана. Но все эти исключения только лишний раз подтверждали то общее правило, что как воробьи, проживавшие на дворе в ветвях чинары, так и отголоски, имевшие свое местопребывание на площадке перед домом, беспрепятственно владели этой местностью с утра воскресенья до субботнего вечера.

Доктор Манетт принимал здесь своих пациентов, шедших к нему на основании его прежней репутации или же вследствие таинственных слухов о его судьбе. Его научная подготовка, внимательность и умение производить остроумные опыты доставляли ему достаточное количество работы, и он получал столько дохода, сколько ему было нужно.

Мистеру Джервису Лорри известны были все эти обстоятельства, и он думал именно о них, когда взялся за ручку колокольчика и позвонил у дверей тихого дома в закоулке в этот прекрасный воскресный день.

– Доктор Манетт дома?

– Скоро вернется.

– Мисс Люси дома?

– Тоже сейчас вернется.

– А мисс Просс дома?

Может быть, и дома, но горничная даже и приблизительно не может поручиться, как мисс Просс пожелает отвечать на этот вопрос.

– Ну так я и сам здесь как дома, – молвил мистер Лорри и пошел наверх.

Докторская дочка ничего не знала о своей родине, но как будто почерпнула откуда-то врожденное искусство малыми средствами достигать крупных результатов, которое составляет одну из самых полезных и приятных особенностей французского духа. Меблировка была простая, но, сопровождаясь множеством мелких украшений, которые ничего не стоили, изобличала такой изящный вкус и такое богатое воображение, что в общем производила прелестное впечатление. Вся обстановка, как в крупных вещах, так и в малых, их окраска, фасон и расположение показывали такое тонкое умение подбирать цвета и пользоваться эффектными противоположностями, что занимались этим, как видно было, такие нежные руки, такие ясные глаза и такое вообще здравомыслящее существо, что все это помимо удовольствия для глаза живо напоминало саму хозяйку. Мистер Лорри, стоя в этой обстановке, с удовольствием озираясь вокруг, и ему казалось, что столы и стулья взирают на него с тем самым выражением, с некоторых пор особенно знакомым ему и понятным, которое означает: «Как вам это нравится? Довольны ли вы?»

В этом этаже было три комнаты в ряд; все двери из одной в другую были растворены настежь, чтобы лучше их проветрить, и мистер Лорри, улыбаясь подмеченному сходству, прохаживался из комнаты в комнату и все озираясь по сторонам.

Первая комната была самая нарядная: тут были птицы Люси, ее цветы, книги, письменный стол, рабочий столик и станок для рисования акварелью; вторая комната была приемная, где доктор принимал своих пациентов, но тут же и обедало его семейство. Третья комната, на стенах которой тень от чинары, трепетавшей на дворе своей листвой, проводила разнообразные изменчивые упоры, была спальня доктора, и тут в одном из углов стояла старая скамейка башмачника и тот самый подносик с инструментами, которые находились когда-то на чердаке, в пятом этаже унылого дома, рядом с винным погребом, в предместье Сент-Антуан в Париже.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.